

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

В. Н. Бараков
В. Г. Бондаренко
В. В. Гончарова
В. Г. Захарченко
Е. А. Золотова
Н. А. Ивеншев
В. В. Касьянов
Ю. В. Козлов
В. И. Лихоносов
Ю. М. Лощиц
Ю. В. Лучинский
С. Н. Макарова
З. Прилепин
Н. Г. Пугачёва
Л. А. Сычёва
А. В. Татарinov
Е. В. Хомутов
С. А. Шаргунов

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Юрий Михайлович Павлов

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Н. И. Крижановский

РЕДАКТОР ОТДЕЛА

В. А. Бельтюкова

ДИЗАЙН

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Е. А. Быковченко

КОРРЕКТОР

М. В. Юрченко

РОДНАЯ КУБАНЬ

Литературно-исторический журнал
№2 (91) 2021 г.

Адрес редакции:
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.
Тел./факс 259-60-27; e-mail: r-kuban@inbox.ru
Подписной индекс: 31899.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Краснодарского
края, ООО «Газетно-информационный комплекс
«Кубанские новости».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газетно-информационный
комплекс «Кубанские новости».
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
автора публикации.

Заказ № 606

Тираж номера 1000 экз.

Свободная цена.

Подписано в печать ??.??..2021 г. Формат 84x106/16.

Дата выхода ??.??..2021

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15, 12.

Отпечатано АО «Издательство «Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106

Журнал зарегистрирован в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Южному федеральному округу ПИ № ТУ23-01250
от 29 января 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

АНДРЕЙ ПИЦЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.....6

ЕЛЕНА ЛОБАНОВА

ВСЁ, ЧТО НУЖНО 30

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР ВОЙСКА ДОНСКОГО 38

ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

«МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТОМ

ВАСИЛЬКИ СОБИРАЕТ ОНА...» 48

АЛЕКСАНДР ФОКИН

«ВЕСНОЙ ВСЕГДА ТАК МНОГО КРАСОТЫ...» 54

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

ДАРОВАНО ГОСПОДОМ 60

ГОСТЬ НОМЕРА

«РОДНЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ»

Беседа Анатолия Корчуганова с Виктором Лихоносовым 66

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ

ИГОРЬ СИРИЦА

РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ НА КУБАНИ 80

«МНОГОБЕДНОЕ НАШЕ СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ В РОССИИ»

Беседа Гурия Немченко с Валентином Распутиным 94

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ И... 108

ВСЕ ОБРАЗУЕТСЯ?... 112

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

РУСЬ ВИКТОРА ЛИХОНОСОВА 114

ДАРЬЯ ЗАИКА

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ КАК ЖИВАЯ КАРТА ПО ПОИСКУ РУССКОЙ ДУШИ 118

ТАТЬЯНА РАДИОНОВА

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ПРОЗА 124

ДМИТРИЙ КОВАЛЬЧУК

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ.....128

НИКОЛАЙ КРИЖАНОВСКИЙ

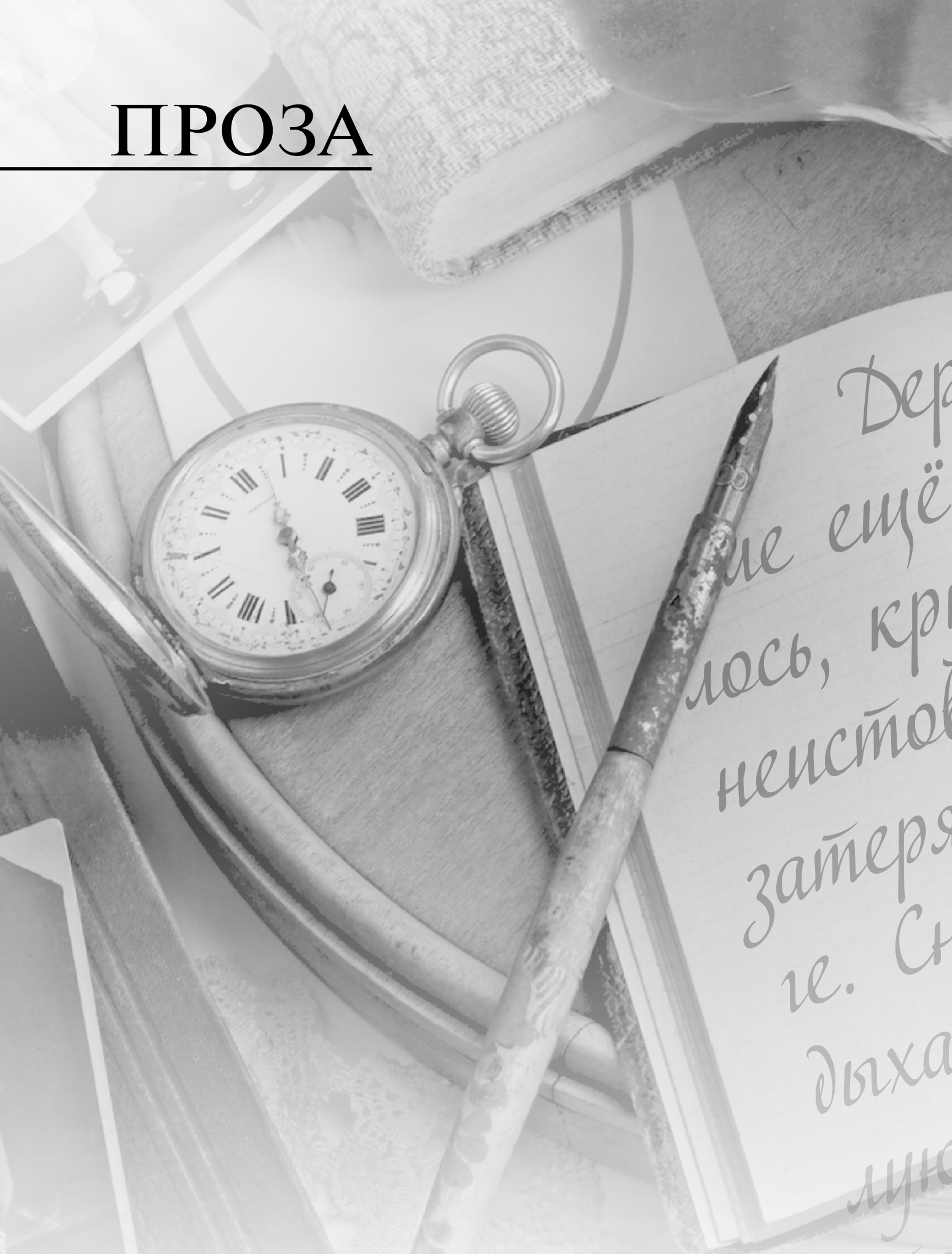
М.О. МЕНЬШИКОВ О Т.Г. ШЕВЧЕНКО:

ИДЕОЛОГ УКРАИНСКОГО СЕПАРАТИЗМА 136

ПЛАТОН БЕСЕДИН

ТЕРРОРИЗМ НОВОГО ОБРАЗЦА: ШКОЛЫ КАК ПОЛИГОН 140

ПРОЗА



евня и заречные леса вна-
едва заметно серели, каза-
утились вместе со снегом в
стве метели, потом и вове-
лись во всё усиливавшейся в
сек лицо, ветер перехват
ние. Родька, вырзаясь в про-
землю, поначалу орудовал
прямиво, с лихими промкми



АНДРЕЙ ПИЦЕНКО

Родился в 1979 году в Краснодаре. Окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Публиковался в журналах «Родная Кубань», «Сибирь». Живёт в Краснодаре.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Гортань их — открытый гроб;
языком своим обманывают,
яд аспидов на губах их.*

Ап. Павел. Послание к Римлянам 3:13.

I

Стиснутая лесами, посреди векового могучего сосняка, что розово румянится на всходящем или заходном солнце, молочно белеющего березняка да осинника, неспешно петляя, несёт свои воды река Шумилиха. Без малого четыре столетия назад, во время Смуты, на невысоком мыске по правому берегу Шумилихи объявился народ. То были люди из Грязовецкого края, оставившие свою деревню, разорённую и дотла сожжённую зло разгулявшими казаками атамана Баловня. Так на отшибе и появилась здесь деревенька, и над названием долго не думали — Погорельцы. Лесом пробавлялись: от него строились, добывали пропитание, угревались. Но с ним же шла и тяжкая борьба: веками погорельцевские мужики артельно рубили, жгли, корчевали лес, сажень за саженью расчищая землю под пашни. Сколько пота пролили они в здешние земли — поди, ещё на одну Шумилиху наберётся.

Почти четыре столетия жила деревня Погорельцы. Много повидала она радости и горя в череде спокойного труда и смутных да ратных времён. Прореженная вдоль и поперёк в Великую Отечественную, непонятно кем и почему признанная в начале шестидесятых «неперспективной», замороженная реформами новой власти, деревня подошла к своему пределу, пределу века и тысячелетия. Зимой девяносто девятого года в Погорельцах встретили всего три жителя...

* * *

Антипычу приснился странный сон. Будто сам он старик, а деревня — точно в его детстве, гуляет на Петров день. А он отчего-то в нижнем конце дерев-

ни, один-одинёшенек, и спешит он улицей вверх на полянку, что на угоре, за конторой. Уж на угоре в Петров день завсегда душа ликует: там чинные, да к сватовству ведущие хороводы, захватывающие дух качели, задорные плясовые. На гулянье пестрит угор праздничной, самолучшей одежей. Взойди на него — и песней он тронет сердце, поманит румяной девичьей красотой, раззадорит хмельком и молодецким ухарством, все заботы детскими забавами развеет. Мужики и парни с ребятнёй, поди-ка, уже и в лапту да бабки играют. И не играют даже — сражаются! Ведь сколь девчат-то на них глядит! О-ох! Всем там сейчас радостно! В предвкушении заходит сердце Антипыча и словно толкает его вперёд. Поскорее добраться ему на угор хочется, а не выходит — ноги непрочные, словно кисея. И воздух какой-то густой, тяжёлый — точно не посуху идет Антипыч, а против течения по стрежню загребает. Весь уж взмок, а и половины не одолел. На пыльной улице только совсем уж ветхие, сухонькие старики на брёвнах сидят. Сообща и каждый своё без слов вспоминают. Завидев Антипыча, понимающе кивают головами, старушки его мелко крестят, шепчут чего-то. Иных Антипыч никогда в деревне и не видал. Откуда они тут? На праздник, к родне, чтолича?

Задыхаясь, добрался Антипыч до полянки, стоит вот теперь, дух переводит. Народу — страсть! Кто-то замахал руками, и разом смолкли песни, хороводы распались. Ребятня и та присмирела. Тихо-тихо делалось. И все смотрят на Антипыча до того пристально, что и не поймёт он: то ли в невиданные начальники выбился, то ли натворил делов каких. Отчего это встречают его так? К Антипычу спешит, чуть ли не бегом, Митроха-председатель. Подскочив, вроде чего-то говорит. Но слова его, словно застревают в воздухе, снова густом и тяжёлом, и слышатся спустя мгновения. В первую секунду Антипычу потешно: Митроха, будто рыба какая, беззвучно рот разевает.

— Вот, Павел, а мы уж тебя ждём. Видал? Почитай вся деревня тебя провожать собралась, уважили,

гулянье какое устроили, — доходят до Антипыча Митрохины слова.

— Это куда провожать-то? — изумляется Антипыч. — С утра навряд ли куда не собирался.

— На войну, Павел. На войну...

— На какую войну? — всё больше удивляется Антипыч. — Уж отвоевали в сорок пятом.

— Так она и не кончилась тогда, Павел. Нечто не знаешь?

— Ты, Митроха, перебрал никак? — сердится дурной шутке Антипыч.

— Во даёт! Перебрал! Антип Алексеич, растолкуй сыну, что ли?! — оборачивается Митроха к народу.

И повторяет, усмехаясь:

— Видали? Во даёт! Перебрал!

Народ расступается, и выходит к Антипычу его отец. словно аккуратными стежками идёт он. Так он перед смертью ходил — бережными маленькими шажочками, опираясь на батог, тяжело сторбившись, будто в поклоне всему миру. Подойдя, задрал вверх голову, долго глядит на сына старческими, выцветшими глазами.

— Верно Митроха рассказывает. Тебя, Павел, на войну-то. В лекруты стало быть, — произносит отец.

— Да какая в самом-то деле война?! Никак я в толк не возьму. Чего случилось что ли? Не пойму я ничего. Тятя, да поглядите вы на меня! Уж восьмой десяток небо копчу. Какой из меня рекрут?! — ещё больше удивляется Антипыч. — Я уж своё отвоевал давно!

Чувствует вдруг Антипыч смятение. А не обманывает ли он отца, Митроху-председателя, да и весь народ? Пытается оглядеть себя — впрямь ли он старик? Смотрит, и понять не может.

— Дак больше, Павел, и некому, — слышится тихий и печальный голос отца.

— Это как же некому? — Антипыч поднимает взгляд, а отца уж нет. Ещё вроде отголосок отцовых слов не успел улетучиться — а уж нет его. И Митрохи-председателя тоже нет. Никого нет. Ни души...

— Тятя! Митроха! Где вы?! — испугавшись, заблажил Антипыч.

И проснулся...

В избе было темно. Вокруг оконного стекла, рас-

писанного бахромой льдистых узоров, мутно серел отсвет снегов, нисколько, однако, не освещая самой комнаты, но делая темень в ней совсем уж густой и неразличимой.

Сердце Антипыча торопливо стучало, казалось, выпрыгнуть собиралось. Чудилось, будто тюкало оно у самого горла, в висках же гулко сверчала кровь.

— Вот ведь, эка стучит, зараза! — со сна глухо произнёс Антипыч.

И после его слов, словно эхо сердцебиения, внизу, на полу, тоже что-то забумкало. Тихонько так, как бы виновато.

— И ты не спишь? — вздохнул Антипыч, поглядел вниз, в темноту. — Это я тут сам с собою беседу завёл. Спи, спи.

Полежал он ещё в тишине, поворочался. Сердце его малость поутихло, колошматить нутро перестало. Но теперь почувствовал Антипыч, как стала наполнять его неясная, тягостная тревога, от которой несильно, но назойливо стало ломить в пояснице.

Антипычу и раньше сны такие снились, когда на войну его провожали, но были они какие-то невнятные, летучие. Проснёшься, попытаешь схватить памятью — а уж нет его, одни нестройные обрывки и остались. А сейчас вот ярко и разборчиво всё так пригрезилось, будто взаправду оно и было. Всей деревней, да на войну провожали. И одного его. Хотя, может и нечего тревожиться? Всё равно зная нету, к чему он, такой сон. Зато вот с отцоммаленько, но всё ж поговорил. Обычно во снах глядел на отца и мать навряд ли как со стороны, и они его никогда не замечали, и так, чтоб хоть словом перекинуться — никогда не было, как бы этого и не хотел Антипыч. Всегда это Антипыча угнетало. А сейчас вот удалось поговорить. По имени назвал его тятя. Так и сказал — Павел! Почитай, лет сорок именем никто не прозывал. Тут уж хочешь — не хочешь: накатили воспоминания. Ну а коль разгулялась в ночи память, дело — табак! Поёрзал, поёрзал Антипыч — и сел. Привычно помял руками колени и полез с тёплой, припечной лежанки на голбце. Нашупал ногой приступок, вниз шажок сделал, другой, вот и пола коснулся. Скрипнули половицы. Нашарил валенки, сунул в них ноги.

— Ничего! — сказал сам себе Антипыч. — Покурим, значит, и обратно, в тепло.

На полу снова что-то забумкало. Теперь уж часто и радостно.

— Что, Варнак, всё окаянничает по ночам хозяин, не даёт дрыхнуть? — усмехнулся Антипыч и нащупал выключатель. Зажёгся свет.

В углу, на полочке, с пристальным прищуром глядя на хозяина, стучал хвостом об пол чёрненький кобелёк с рыжими бровками, белой отметиной на груди, и рыже-белыми носочками на лапах.

— Спи, Варнак, спи, нечо, — махнул ему Антипыч, и кобелёк, готовый было сию секунду вскочить, теперь расстроено зевнул, положил голову на лапы и исподлюбя, как бы обиженно, поглядывал на хозяина.

Папирос, тем более сигарет, Антипыч никогда не жаловал, курил только самосад. Про то говорил: «Баловство одно, свиристульки. То ли дело мой табачишко, горлодёр. Уж как проймет, всё нутро зашевелится. Опять же — и в мозгу с него прояснение». Вот уж с чем нужды никогда не знал Антипыч, так это с табачком. Растёт он летом себе дурноростом в огороде — знай себе собирай, суши да руби. А из давно заброшенной избы-читальни натянул газетных подшивок — уж куда с добром. Смолить — не пересмолить.

Антипыч сел за выскобленный к празднику старый стол отцовской ещё работы. Провёл по нему рукой, ощутил приятные на ощупь, плавные ямочки от самоварных угольков и шероховатость множества щербинок — следы жизни большой некогда семьи. Чему-то усмехнулся, закивал головой, будто соглашаясь со своими мыслями. Зябко запахнул зановошную овчинную душегрею, одетую поверх клетчатой байковой рубахи, и принялся крутить «козью ножку» из пожелтелой газетной бумаги.

Антипыч закурил и, сгорбившись, прильнув подбородком к груди, зашёлся долгим, тяжело kloчущим кашлем.

— Ох, зараза, вишь как продрало, — откашлявшись, сказал Антипыч и замолчал. Он курил, уставившись перед собой взглядом, снова согласно закивал головой, беззвучно шевеля губами, будто

повторяя какое-то слово.

— Да, так тятя и сказал. Павел, — теперь вслух произнёс Антипыч. И повторил по слогам: — Павел...

* * *

...Как и всем на войне, очень хотелось Павлу выжить. Подвигів совершить навроче не довелось, но и не прятался, воевал честно. Вернулся с победой в деревню — а там бабё да стариково царство. Повыбило мужиков. Иной раз отчего-то совестно было Павлу в глаза вдовам да сироткам глядеть. Ведь он ни женой, ни детишками не обзавелся, к жизни не успел ещё прикрепиться — но вот выжил. И вроде не за что себя корить, нет на нем никакой вины, такая доля выпала, но иногда накатывало: опустит глаза и шагает по улице, словно вор какой, будто жизнь свою он украл у кого. А Павла бабы да старухи иной раз провожали долгим взглядом. По-разному, казалось, на него глядели. Может, и вопрошали невольно: а мой-то чем хуже был? И у каждой на избе красная жестяная звёздочка, а то и не одна. Бывало, смотрел на эти звёздочки Павел, вспоминал парнишек и мужиков, и мнились ему их голоса: «Ты уж, Павел, того, за нас-то поживи, крепко поживи, ежели вот так оно довелось...» И хоть у него самого на избе две таких звезды и поныне имеются — двух старших братьёв забрала война, но он-то живёхонек вернулся. В первый послевоенный год вызрело в нём ощущение, что отныне спрос с него будет таков: для чего, Павел, соколик ясный, ты возвратился? Для каких дел, для какой жизни? Кто, когда, как с него спросит — Павел не знал. Но потаённой, нутряной болью, от которой на душе как-то светло и одновременно горько делалось, угадывал Павел — во первую голову сам он с себя и спросит. И не зная точно, как поступать, только чувствуя, словно отвечая пред собой и перед всем миром, ломил Павел в колхозе до седьмого пота.

Наособицу тогда не жили. Часто бывало, заходил к отцу или матери кто-нибудь из соседей вечер скоротать, чаю попить, иль чем нехитрым одолжиться. А того чаще — за укреплением друг к другу ходили. Горе-то огромно навалилось, одному такую суму дюже тяжко мыкать, союзно — всё ж полегче.

Старики на табак налегали, молчали больше. Бабы вздыхали, тихонько смахивали слёзы, да затягивали песни. И далёкая юдоль былого, немудрёно и вместе с тем непостижимо объятая песнями, соединяла в них вековую и свою, такую близкую боль и тоску. Потому редкую песню дотягивали до конца в то время бабы — то и дело на плач сбивались. Бабы облегчались слезами, помалу жизнь брала вверх, и не вдруг, но выправлялся разговор. А уж как выправлялся, так, бывало, делились, у кого какое по хозяйству злополучие стряслось. Дескать, там вот подладить уж давно надобно, здесь подбить, тут упочинку сотворить, а кому её делать-то? Рук мужицких нет во дворе.

— Ничё, это мы враз соорудим. Завтра забегу, — говорил тогда Павел и непременно закуривал. Дело, значит, решённое. И правда, забегал назавтра и делал.

В сорок шестом Павел сосватал и привёл в дом из соседней деревни красавицу Катерину. Потом в год произвели молодые первенца, сына. В колхозе же произвели Павла в бригады, а деревенские вдовы и старухи — в наипервейшего своего помощника. Здоровьем Павла природа не обидела, да и помогать нравилось. Хорошо, счастливо на душе делалось, когда видел он людскую радость даже от самой немудрёной, плёвой подмоги. Магарычей Павел не брал. Ежели намекали ему, скажем, на поллитру — обижался. На особо ретивых, бывало, и покрикивал. Поэтому, чтобы хоть как-то уважить Павла, стали величать его бабы по имени-отчеству: Павел Антипыч. К тому приладилась и Катерина, сперва озоруя, а потом уж и у неё в привычку вошло. А после смерти отца да матери имя как-то незаметно оттёрлось, осталось одно отчество. Так для всей деревни окончательно и сделался Павел, не прожив и тридцати годов, Антипычем. Да и нынче: в райцентре с чьей-то легкой руки в шутку стали деревню Антиповкой называть...

Антипыч докурил. Поглядел на старые настенные часы: два часа ночи. Подошёл к ним, тронул часовую гирьку, сделанную под еловую шишку, и улыбнулся. Когда-то давно у часов отворялась дверка и выскакивала кукушка. Ребятки, малые еще

были, однажды полюбопытствовали, поглядели они на кукушку, что там у неё да как — с тех пор и дверца не открывается, и кукушка не кукует.

Рядом с часами висел отрывной, истончившийся до крайности календарик. Пазганул Антипыч с него листик, взглянул на последний оставшийся, и вслух прочитал:

— Пятница, тридцать первое декабря, одна тыща девятьсот девяносто девятый год.

Антипыч провёл по буквам и цифрам жёлтым от табака ногтем, будто удостовераясь, не ошибся ли он, верно ли прочёл?

— Ну, брат, дородный ты был, а вот, поди, тоже схуднул, — глядя на календарь, усмехнулся Антипыч. — Одно в тебе тридцать первое декабря и осталось, а завтра уж и того не будет. Что, денёк, последний ты в году и остался. Эко тебе выпало! Не год заканчивать, и не век даже! Тычаще..., тыча..., тыфу ты черт, хрен тебя выговоришь! Тыщачелетие! Всё вместе — одним разом! Во как фартануло-то тебе!

Антипыч обернулся к кобельку, уже задремавшему и произнёс:

— Вот и дожили мы с тобой, Варначок! До нового тыщачелетия! Во как! Дожили! Ну, ты-то супротив меня мокроносый ещё.

Кобелёк открыл глаза, приподнял голову и, внимательно слушая, наклонил её сначала на одну сторону, потом на другую.

— Ладно, ладно, ты, Варнак, не обижайся на меня. Не мокроносый, это уж я дал чересчур, — примирительно продолжил Антипыч. — Мальчонок ты. Так и есть. Супротив меня — совсем мальчонок. Точно тебе говорю. Я, брат, знаешь, с каких времён по земле хожу? Ой! Я с двадцать шестого года! Твои прадеды тогда ещё в очереди стояли, чтоб на белый свет заявиться. А вот живём — да вместе хлеб жуём! Верно я говорю?

Антипыч щёлкнул выключатель, у приступка стащил валенки с ног и полез на голбец: на тёплую припечную лежанку. Улёгся, снова долго ворочался, кряхтел и вздыхал. В ответ постанывала от мороза изба, будто старыми косточками, пощёлкивала промерзшими венцами. Иной раз казалось, и она вздыхала — ей тоже было о чём вспомнить.

II

Утром, как сделалось поглядно, Антипыч встал. Покормив Варнака и наскоро позавтракав сам, старик засобирился. Кобельку, ринувшемуся было к двери в сени, дал наказ:

— Ты, Варначок, остаёшься на охране. Стало быть, за главного в избе! А я скоро буду — к Родиону забегу, малость по деревне пройдуся да поклонюся ей. В этом-то веке когда ещё сходишь? Правильно, брат, уж и не сходишь. Завтра, Варнак, уж другой век будет. Так-то.

Антипыч задумчиво посмотрел в небольшое зеркало, давно висевшее на стене и успевшее помутнеть от времени. Жалость тронула его. Суровый отходящий век выменял у него юность на войну, братьёв — на жестяные звёздочки. Но ведь и этот самый век подарил ему жизнь, родительский ладный догляд, добытую неохватными страданиями, священную Победу, неизбывную любовь к Катерине и детишкам. Что ж, нынче уж их, ребят, время... А в отражении зеркала на него смотрел старик, чьи усмешливые лучики морщин, и всё ещё голубые глаза, и широкий нос, и овал седой бороды — каждая черта его светилась ласковой и простодушной улыбкой. Седые волосы его, редкие и лёгкие, словно детский пушок, и удивлённо изогнутые дуги кустистых бровей придавали его лицу ребячью непринуждённость. Но присмотревшись, можно было увидеть, что в глубине его глаз таился тот отпечаток, какой оставляют многие печали долго жившего и немало повидавшего человека...

...Антипыч вышел за ворота и остановился. Под окнами, выходящими на улицу, у старых берёз, на двух чурках лежало бревно. Антипыч подошёл, рукавицей очистил часть бревна от снега. Старик снял рукавицу, провёл рукой по гладкому дереву — время отполировало его дождями, снегами, ветрами. Здесь, на этом бревне, давным-давно рассказывал про атамана Баловня и его казаков прадед Илья. И поныне помнит Антипыч тот летний вечер. Хотя и давно был он, но такие вечера — они уж для памяти, на долгую, короткую ли — но на всю жизнь. А ей, памяти, что шестьдесят, что семьдесят лет — делов-то

секунда. И вот уже вроде ни зимы, ни стужи, ни снегов нет — куда что и девалось! Снова утревню на сердце, опять на земле тепло...

Красное солнце, будто оплавив за долгий день само себя, прячется за дальние, разом потемневшие леса. И всё вокруг розовое: небо, облака, даже пыль, что стоит над дорогой — недавно пастух пригнал с выгона коров. Посветлевшие избы кажутся помолодевшими: нежатся в закатном жёлто-красном свете и радостно румянятся оконными стёклами. На душе — будто праздник. В соседнем дворе весело зазвенел подойник. Бабы, встретившись у колодца, зацепились языками — теперь вот хохочут. Лягушки у реки и кузнечики в травах выясняют, чей хор громче. Где-то залился восторженным лаем звонкий щенячий голосок, оравой загладели гуси, и тот же голосок сначала испуганно заверещал, потом обиженно твякнул и притих. Прадед Илья сидит на бревне, окутанный табачным дымом. Красными, слезящимися глазами глядит на правнука.

— Что, Павла, опять портки изорвал? Вот ить лешой! Портки-то беречь надобно. Ну-ко, батюшко, иди, порасскажу чего, — манит он узловатым пальцем с большим, жёлтым прокуренным ногтем. Руки у прадеда сильные, с задубевшей кожей на тяжёлых ладонях. У него густая и огромная, седая борода, усы же коричневые от табаку. Прадед богатырского роста, не усох к старости. Недаром был он в молодости гренадер, ходил в поход за царя аж на турка.

Подсаживаются соседи — старики да ребятя, слушают. Слушает, замерев, и маленький Пашутка. Про злодея атамана Баловня, про его гулящих казаков, что жгли и грабили деревни и монастыри. Про то, как в Москве-городе подвесили того разбойника-атамана на крюк, за ребро. И страсть, как жутко, и не оторваться — до чего увлекательно прадед Илья рассказывает.

А потом уж в сумерках прадед вспоминает про ту-рецкий поход, про какого-то даденного ему Ягория, но почему-то непонятно, неясно вспоминает. И всё вокруг лёгким таким делается и кружится. И чьи-то руки мягко, будто и не касаясь его вовсе, несут Пашутку в избу. Ночью снится ему страшный атаман Баловень. Он огромного роста, одноглазый, лысый,

с седой бородой и ржавым крюком в боку. Манит он пальцем с большим, жёлтым прокуренным ногтем и голосом, в точности как у прадеда, говорит:

— Иди-ко, батюшко, иди, порасскажу чего...

...Антипыч поглядел вокруг. Утро выдалось погожим. Румяное солнце, будто только из печи вынутое неведомой хозяйкой, чуть поднялось над серыми зубцами заречных лесов, окрасило снега яркой, самоварной начищенной медью. В сквозном утреннем свете куржак на деревьях где занежился, зарозовел, а где и выиграл: заклубился белёсо или вспыхнул осенним золотом. В затенях, косо вытянувшихся у изгородей, возле изб и амбаров, снег так приятно синел, что, как в детстве, хотелось попробовать его на язык. Старик встал с бревна и потопал по расчищенной тропинке. В совершенном безмолвии снег громко хрустел под ногами. У колодца тропинка закончилась, снег пошёл глубокий. Своего трёхдневного следа Антипыч не увидел, замело его начисто.

— Хорошо ещё наст внизу, а то ходи — утопай по колено, — рассудил вслух Антипыч.

Нынешнюю зиму в Погорельцах встретили всего три жителя: Антипыч, ровесница его Настёна-солдатка и Родька Суслопаров, мужик лет сорока пяти. Но Настёна-солдатка померла неделю назад, а Родька, хоть и родился здесь, но давно уж откоренился. Отслужив срочную, остался в городе, и с тех пор кружило его по свету, и нигде не нашёл он пристанища. И золотишко на Чукотке мыл Родька, и на траулере ходил в северные моря за рыбой, и в Сибири на буровых вкалывал. Промеж того, сгоряча женился, сгоряча же, быстрёхонько и разводился, и детей нажить ему не случилось. Имелась в его биографии «условка», что впаяли ему за пьяную драку. Наездами, раз в пятилетку, пока живы были родители, объявлялся Родька в деревне. Прибывал с деньгами, пускал пыль в глаза погорельцам, хвастался недюжинной своей биографией, непроглядно пропивался и уезжал, обычно, гол, как сокол. Как не стало матери и отца, запропал было, и вот объявился в конце осени. На вопрос Антипыча: «Надолго, али как обычно, дачником приехал?» только махнул рукой и неопределённо ответил: «Поглядим».

— Нет, скоро ускачет Родион. Оно ему и рань-

ше-то не сиделось, а сейчас и подавно, — рассуждал сам с собой старик, пробираясь по глубокому снегу к Родькиной избе. Остановившись, Антипыч оглядел опустевшую деревню, невесело вздохнул:

— Пошабашили, видать. Слезай, приехали...

Избы, раньше доверчиво, по-соседски жавшиеся друг к дружке, теперь стояли редкие, будто отшатнулись от бывшего. Какие из них разобрал в свою пору переезжающий народ. Иные же, вековые избы, стыдливо прятались в обмётанном куржаком дурноросте, без подлада гнуло их к земле, кособочило, раскатывало время. И уже не угадать постороннему взгляду, была ли тут изба, и какая она была? Многие из таких домов последние лет десять потихоньку пилили на дрова. Избы помоложе, почерневшие от дождей и снегов, тоже одряхлевшие, покосившиеся, с прогнутыми крышами, стояли заколоченными. Лишь резные наличники, где они остались, потускневшие, потрескавшиеся, но все ещё светлые и сказочно красивые, форсисто и несломлено глядели на безлюдную улицу. Во дворах, брошенных на потеху ветрам, что-то постоянно жалобно скрипело, неприятно хлопало, угрюмо грюкало. В верхнем конце деревни от крайней избы и вовсе осталась лишь скорбно почерневшая печь — пару лет назад бездомники ночевали, да спалили нечаянно.

Антипыч помнил каждую избу и того, кто в ней жил раньше. Проходя, останавливаясь и переводя дыхание, вспоминал вслух: «Вот тут Курковых изба стояла. Они её в семидесятых еще разобрали, да в райцентр свезли. Здесь, значит, старушки Афанасьевны избёнка была. Ничегошеньки уж от неё и не осталось. Эта вот, со светелкой, в ней Митроха-председатель жительствова!».

Антипыч добрался до Родькиной избы. Ворот уж давно не было, половины изгороди тоже. Старик поднялся на крылечко, кашлянул, постучал, оббивая снег, валенком об валенок. Прошёл в тёмные сени, скрипнул дверью.

— Здорово ночевал, Родион? Ты тут? — спросил Антипыч.

— Тут, — ответил хриплый голос.

В комнате пахло мышами, сыростью и плесенью. Разорные запахи долго пустовавшего дома не

успели ещё покинуть избу, но охотно сливались с кислым перегарным душком. Из-за печи, с лежанки показалась голова Родьки со всклокоченными ото сна чёрными, словно цыганскими волосами и опухшим лицом. Родька уселся на лежанке, стал скрести под высоким, отвислым воротником свитера, тупо глядя то в пол, то на Антипыча. На столе лежали пустые бутылки, какие-то консервные банки, блюдце, наполненное окурками.

— А ты чего, опять намок вчера? — усмехнулся Антипыч.

— Угу. Было дело, — Родька встал с лежанки и перебрался на табурет у стола. Плечи его передёрнуло. — Ух, зараза. Дали вчера копоты.

Родька сунул в рот сигарету. Неверной, дрожащей рукой, он принялся чиркать спичкой, не попадая по боковушке коробка. Наконец прикурив, выдохнул табачный дым, скривился:

— Башка трещит.

— Дело известное, — тоже усаживаясь за стол, произнёс Антипыч. — Когда она у нашего брата не трещала, ежели вино так глушить? Отчего ей не трещать?

— А что, может, мы сейчас с тобой, Антипыч, это дело поправим, — Родька встал, подошёл к шкафу, достал оттуда бутылку и победно потряс ей. — И здоровье проясним, и праздник отмечать начнём. А? Чего теряться?

— Что ты, парень? С самого утра что ли? — показал головой Антипыч.

— А чего? — изумился Родька. — Бей врага его же оружием! Так что, по пять, как говорится, капель?

— Ты как хочешь, а я не буду, — сказал Антипыч. — Сроду поутру не пил.

— Ну как знаешь, — Родька уже распечатал бутылку, плеснул себе в стакан. — Значит, твоё здоровье.

Родька выпил, снова скривился, помотал головой. У него еще несколько секунд вверх-вниз походил кадык, так, что даже у Антипыча во рту собралась горькая слюна. Но потом Родька шумно выдохнул:

— Щас заживем! Ты чего пришёл-то, Антипыч? Я думал — праздник справлять.

— Дак чего пришёл. Ты, это, Родион, заходи вечером, посидим по-соседски. Всё веселей вместе. Новый год, и это, как его, тыща...

— Миллениум, — подняв вверх указательный палец, перебил старика Родька.

— Ага, и оно тоже.

— Забегу. Только надолго не обещаю, я в райцентре с мужиками забилися. И девки будут, ну сам понимаешь. Но забегу. А то может, давай, чего тянуть? — Родька потянулся к бутылке.

— Не, лучше вечером. Чтоб всё чин по чину, — ответил, поднимаясь, Антипыч. — Ну, пойду. Так ты это... сильно-то не налегай, и заходи, обязательно заходи, Родион!

— Буду как штык! Ежели Родька Суслопаров сказал — так и будет! Закон! — он убедительно чиркнул себя по кадыку большим пальцем и снова плеснул себе в стакан.

Старик вышел на улицу, вдохнул морозный, колкий воздух, покачал головой:

— Скоро и ускачет. Помается разок-другой с перепоею без магазина, да ускачет.

III

В том, что Родька уж неделю беспробудно пил, Антипыч корил себя. Дело случилось так. Нежданно объявившись в деревне, Родька первым делом поснимал доски, которыми были заколочены окна родительской избы, истопил баню. Зашёл в гости к старику, порасспросил про местное житьё-бытьё. Как показалось Антипычу, от услышанного Родька малость скис, хоть виду старался не подавать, и скоро ушёл к себе. Потом несколько дней тюкал во дворе топором, что-то, видать, подлаживал. И что удивило старика — не пил Родька вовсе. Не пил, пока не померла Настёна-солдатка. Вот тогда и дал Антипыч промашку...

Настёна-солдатка ещё с войны жила одна. Муж Настёны, Михаил, пропал без вести в сорок втором, а детей они нажить не успели — только месяц мужем и женой побыли. Получив извещение, она будто бы замерла и жила, словно лишь внутри себя и своих горьких мыслей. При разговорах всё больше она

молчала, смотрела в землю, едва заметно покусывала нижнюю губу, теребила пальцами конец платка. Но когда кто-то из баб уж после Победы назвал её вдовой, она с вызовом ответила: «Не вдова! Не вдова! Солдатка! Без вести пропал — дак ещё, Бог даст, вернётся». С тех пор и прикрепились к ней — солдатка. Жила она тихо и старалась быть незаметной, неизбывное горе состарило Настёну раньше своих сверстниц. Когда стала увядать деревня, и покати́л народ счастье в чужих краях искать — у Настёны и мысли не возникло, чтоб уехать. И странное дело приключилось с ней: хоть никто её в Погорельцах ни в чём не попрекал, наоборот, жалели всегда Настёну и её вдовью долю, а вот чем меньше становилось жителей в деревне, тем живей делалась она в разговорах. «При народе вдовей бабе как: больше скажешь — меньше поймут», — говорила потом Настёна.

Антипыч и Настёна, оставшись на всю деревню вдвоём, чем могли — помогали, и как умели, так укрепляли друг друга. Днями жили нехитрыми заботами, а вечерами попеременно ходили в гости, пили досыта чай, дивились новому, из телевизора слышанному, а больше вспоминали бывшее. Иной раз, правда, заводили разговоры о будущем, но сводились они к шутиливому и горькому спору о том, кто из них первый умрёт. Тут уж каждый одеяло на себя тянул, доказывая, что непременно ему первому помирать надобно. Однако, немного и поспорив, Антипыч каждый раз с резонами Настёны соглашался, говаривал: «Оно, конечно, девка — твоя правда. По уму — дак ты первой должна. Мне тут одному всё легче будет. Опять же, и дети у меня — есть кому досмотреть при крайности». Но тут же добавлял: «Да только выходит это по-нашему с тобой уму, а мы не больно-то всего и разумеем. Как Бог даст, так и будет».

Выдалось «по уму» — первая померла Настёна. За неделю до нового года, в морозный полдень Антипыч заприметил, что Настёна с утра ещё не топила печи. Ёкнуло у старика сердце, помчался он к соседке и нашёл Настёну уже неживой, лежащей на высокой железной кровати под лоскутным, давно выцветшим одеялом. Разом истончившиеся, бескровные губы Настёны застыли в какой-то виноватой,

едва заметной улыбке, мол, уж извини, сосед, выдалось по-моему, тебе выпало меня хоронить. Антипыч повздыхал подле неё и хотел уж рвануть в райцентр, в Васильево, да от переживаний совсем уж неверными сделались ноги. С трудом доплёлся он до Родькиной избы.

Родька обедал. Лишь в первую минуту он перестал жевать, а потом слушал старика навроде бы совсем безучастно. Не проронив ни слова, выскреб ложкой консервную банку, закурил. С минуту помолчал и заговорил, выпуская дым:

— Жалко Настёну-то. Но уж дело такое: всем помирать...

— Оно так, — согласился старик.

— Ты, Антипыч, вот что. Иди домой, — сказал Родька. — Это ж в Васильево надо? Так я сам смотаюсь. Снега нынче навалило — дорогу замело начисто. Так что ты уж домой иди, а я сгоняю. Кто теперь для таких случаев нужен? Медицина да милиция?

— Наверное, так, — ответил Антипыч. И добавил: — Мы здесь от порядков отстали...

— Ну вот, справками там всякими я и займусь, — поднимаясь, сказал Родька.

Пришлось Родьке помотаться в тот день. Но мужиком он оказался дошлым. По глубокому снегу добрался в Васильево, и там уж носился от дома к дому: сначала заскочил к сестре Антипыча, Анфисе, чтоб она обмыла да обрядила покойницу, потом разыскал фельдшерицу, пожилую женщину со строгим лицом и добрыми, красными от постоянного недосыпа глазами. Забежал к участковому. Тот сказался больным, добираться в Погорельцы отказался, но пообещал, что как приедет фельдшерица, всё, что нужно, у себя пропишет. Нашёл Родька и водителя «шишиги», автолавки — на другой машине по нечищенной дороге в Погорельцы было не пробраться. Водителю, молодому вихрастому парню Родька обещнулся за неурочный рейс проставить магарыч — две бутылки белой. Но водитель, узнав, что ехать надобно в Погорельцы, от бутылок отказался: «К Антипычу я и за так съезжу. И бабке Настёне уж последняя от меня помощь пусть будет». Отправив фельдшерицу и Анфису на «шишиге», сам Родька остался дожидаться их в Васильево.

На следующее утро разыгралась метель, и Родька ввалился в избу к Антипычу, будто большой сугроб. От Родьки резко пахло колючим морозом. Он доволен был тем, что сделал хорошее дело и попытался улыбнуться, но красное лицо его, запушённое густым инеем на небритых щеках и вокруг рта, одревенело от мороза. И вместо улыбки вышла какая-то свирепая гримаса. Осыпая на пол снег, Родька расстегнул куртку, извлёк повлажнённую, оттого безжизненно повисшую бумагу справок, и сообщил:

— Все! Можно хоронить!

— Это дело и без справок известное. Коли умерла, дак надо хоронить, — задумчиво ответил Антипыч. — Я в сарае тёсу нашел, домовину сколотил. И крест сладил. А тебе, Родион, благодарствую за труды. Уж если б не ты...

— Ничего! — отозвался Родька. — Да вот, кстати. В сельсовете назавтра обещали двух людей дать — в помощь. Могилку выкопать. На сегодня не могут. Да и метель вон какая...

— Не надо никого, — тихо произнёс Антипыч. — Я уж сам выкопаю...

— Чего — сам? — напустился на него Родька. — Чтобы следом за Настёной очокуриться? Земля-то промёрзла, её нынче динамитом только и рвать!

— У нас завсегда было так: родова хоронит. Ежли родовы нет, дак соседи. Чай тоже не чужими всю жизнь-то прожили. Ничего, выкопаю.

Родька скривил губы, не столько неодобрительно, а будто решаясь на что-то трудное. И, словно сам себе удивляясь, махнул отчаянно рукой:

— Ладно! Вдвоём сладим.

— Вдвоём сладим, — повторил старик. — Ты-то здесь свой. А чужих не надо. Ну, я сейчас тебе завтрак сварганю. И чайком попою.

— Не, Антипыч, спасибо, меня в Васильево по высшему разряду приютили, — лукаво усмехнулся Родька.

— Дак пойдём, ждать тогда нечего, — встал Антипыч.

— Ох, какой же нынче пенсионер беспокойный пошёл, — сетовал Родька. — Ухайдокаешься — так мне тебя обратно, что, на закорках тащить? Может, всё ж завтра сгонять за людьми, а? Нет? Ну, смотри

сам. А то ведь мы с тобой как те полтора землекопа. Глядел такой мультик али нет?

Антипыч ничего не ответил.

Кладбище было устроено недалеко от деревни, на холме, у развилки дорог. Из деревни его не было видно, зато с кладбища Погорельцы — как на ладони. Здесь, среди редких сосенок, елей и берёзок в разные стороны устало клонились покрытые лишайником стародавние голубцы в снеговых шапках, почерневшие от времени и дождей кресты, сосредоточенные лица глядели с давно выцветших фотографий на крашенных железных пирамидках.

— Да, Родион, — шурясь, сказал Антипыч, поглядывая на могилки. — Я теперь погост называю Большими Погорельцами. А деревню — Малыми. По количеству жителей. Да. Вот так нынче...

Деревня и заречные леса вначале ещё едва заметно серели, казалось, кружились вместе со снегом в неистовстве метели, потом и вовсе затерялись во всё усиливавшейся вьюге. Снег сек лицо, ветер перехватывал дыхание. Родька, вгрызаясь в промёрзлую землю, поначалу орудовал ломом торопливо, с лихим громким ёканьем при каждом ударе, но через время запалился, то и дело отваливался на снег, пригоршнями совал его в пересохший рот и растирал им лицо. Антипыч же работал кайлом, работал без спешки, но сноровисто, хватко, с едва слышным хрипом на взмахе.

Родька, отдыхаясь, глухим голосом предложил:

— Ты, Антипыч, перекурил бы.

Его занозило то, что вот он, на тридцать лет младше, а уж воздух ртом хватает, как рыба, и пальцы лопотой свело, и руки онемели, а старик всё шурует.

— Ещё пороблю, — выдохнул Антипыч.

— Вот силы у меня поболя твоего будет, а терпезу, видать, нету.

— Это ничего, — Антипыч откинул кайло и взялся за лопату. Согнувшись, помогая себе, подставляя бедро под лопату, принялся выкидывать комья мёрзлой земли. — У меня терпезу тоже не было, дак немец на фронте крепко научил. Ты отдохни, отдохни. Управимся. Настёне и окопчик-то небольшой нужен. Бывало, побольше рыли. Это ничего.

И Родька, не желая чувствовать свою слабость перед стариком, схватился за лом. Когда боль в промёрзших пальцах начинала казаться нестерпимой, Родька представлял, каково же пришлось на фронте Антипычу. Ему хотелось быть не слабее, ему хотелось доказать, что и он смог бы воевать не хуже. И он какое-то время ломил, ломил яростно. Но снова силы отказывали ему, и опять лом ускользал из непослушных рук.

...Когда закончили могилку, Родька так устал, что, казалось, совсем не чувствовал рук. Старик посреди разыгравшейся выюги, весь занесённый снегом, с обледенелой бородой и заиндевевшими ресницами и бровями, с его неведомо откуда взявшейся, будто стародавней, сказочной силой, казался Родьке каким-то лесовиком из бывальщин, слышанных в детстве. И только когда Антипыч попросил у него сигарету, трясущими пальцами взял её и не сразу попал ей себе в рот, Родька понял, чего стоила старику эта работа...

Раздавленный физической усталостью, Родька вдруг почувствовал неясно откуда набежавшую радость. В его душе совершался праздник, какого уж давно не было. Отчего посреди тоскливой серой выюги, секущей лицо и перехватывающей дыхание в его душе стало тепло и празднично, он и сам не мог себе точно ответить. Может, оттого, что остро ощутил давно неиспытанное чувство нужности своей? Иль от давно забытого артельного труда на родной земле? Родька не мог ответить, да и ответ его не интересовал. Ему просто было хорошо. В деревню они вернулись посреди ранних, мглистых сумерек и, собираясь уж разбрестись по избам, Родька вдруг протянул Антипычу сигарету.

— А ведь твоя правда, Антипыч! Ей-ей, хорошо, что сами управились! Хорошо! Вот тут хорошо! — он постучал себя в грудь, хотел ещё что-то добавить, но отвернулся и пошёл к своей избе.

И без этих слов перемена в Родьке не ускользнула от Антипыча. «Вот и поди разбери, чего оно: худо иль хорошо?» — думал старик.

Не ужиная, Родька плюхнулся на кровать и почти сразу заснул. Ему всю ночь снились счастливые сны. Антипыч же забылся лишь под утро — разламывалась поясница. Старик охал, вздыхал, слушал, как тоскли-

во воеет ветер на улице, и думал о Настёне, о том, что одиноко ждала она могилы в нетопленном доме в такую холодную, беспокойную, длинную ночь.

Утром стало покойно. Выглянуло исхудавшее, бледное солнце, чтобы ещё разок поглядеть на Настёну и проводить её. От солнца как-то виновато и торжественно, будто слёзно, поблёскивали снега. Было вокруг просторно и белым-бело. Все оцепенело и притихло, и лишь где-то траурно и застужено кричала ворона. Настёна-солдатка, не познавшая на своём веку материнства, в последний свой путь отправилась на детских санках, что давным-давно сладил Антипыч. Санки, сробленные для забав и радости, помнящие только искренний ребячий восторг, казалось, уныло пели полозьями: «Христа ради, Христа ради...», будто призывая Антипыча вспомнить, что уж никак не для похорон созданы они, и освободить от страшного груза древесно желтеющей домовины. «Дак такие уж нынче дела», — мысленно отвечал старик заунывной, просительной песне полозьев.

До кладбища добирались долго — местами, по сумётам, дорогу санкам приходилось расчищать. Отдыхаясь, часто курили: у обоих со вчерашнего разломило спины. Добравшись, Антипыч с оханьем слез в могилку, очистил дно от насыпавшегося снега, сказав: «Вроде как негоже в снег класть».

Когда вырос на могиле земляной холмик, пересыпанный снегом, Антипыч укрыл его еловыми ветками, установил крест, прошептал молитву и сказал Родьке:

— Пойдём, Родион, ко мне. Помянуть надо бы Настёну.

Родька было замялся, но потом коротко и решительно махнул рукой:

— Пошли!

Недолгого его замешательства и не углядел Антипыч. Да и позже, выставив на стол с нехитрыми угощениями бутылку, не заметил старик вдруг засуетившихся Родькиных рук и глаз. Сам-то Антипыч до вина охотником никогда не был. Выпивать — бывало и выпивал по праздникам, но себя во хмелю не терял. Вот и в этот раз, на радость Родьке, выпил три стопки, и рюмку свою отставил.

Поминки выдались не такими, какими их пред-

ставлял себе Антипыч. Думалось ему, что поведут они с Родионом душевный разговор, в каком не только Настёну вспомнят, а всем памяти хватит — и погибшему мужу её, и Родькиной, и Антипыча родове, а через то уж вдоволь повспоминают ранешнюю жизнь, какая бурлила в Погорельцах. Но Родька повздыхал, повздыхал, да и увел разговор в другую сторону. Есть он толком не ел, лишь хрустко и смачно закусывал соленым огурцом, то и дело курил, и хоть наливал себе непомногу, но частил. Таким макаром Родька скоро запьянел, и взял Антипыча в оборот: принялся толковать о приисках, траулерах и буровых. Перебивать Родьку старику было совестно, да и всё ж занятно послушать, как люди живут в других, далёких краях. Но вскоре Родькины рассказы стали скакать с пьянок на гулянки, припоминать он принялся старые, нанесённые ему обиды, да пьяные свои выходки. Хоть и много брехни было в его историях, Родька, сочиняя на ходу, сам тут же и попевал в рассказы свои поверить. Слушать их Антипычу стало тоскливо, и хоть кивал он головой, и улыбался невпопад, а мыслями от Родькиной болтовни сделался далеко.

Когда же бутылка опустела, Родька засобирался:

— Я, Антипыч, пойду. Коли так, теперь в Васильево сгоняю — уж разгуляюсь вволюшку! Теперь мне это дело плёвое! Поди, забыли тут, как навывчен Родька Суслопаров гулять? Ну, ничего, тряхнем, напомним! А ты — заходи! Душевный ты дед, Антипыч!

Он обнял старика.

Уже в сенях Родька коротко и громко ахнул, и долго, витиевато выругался. Почувший недоброе чувство в этой ругани, Варнак, дремавший было под столом, вскочил на лапы и залаял.

— Ладно, ладно тебе, Варнак! Не сердчай, — успокоил его Антипыч. — Ругался он не со зла. Он-то к городским квартерам привык, там у них двери высокие, хоть вприпрыжку заскакивай. А у нас, чай не квартера, здесь двери пониже. Зайдёшь, выйдёшь, дак поклонись избе-то. Вот он, видать, с непривычки о притолоку головой и шмякнулся. Опять же, подпил. Тут это дело понимать надо!

Антипыч осёкся, и вдруг досадливо хлопнул себя по бедру:

— Вот ведь голова садовая! Ох, Варнак!! Он же в завязке, видать, был. Кто, спрашиваешь, в завязке? Дак Родион и был. Видать, потому и приехал сюда. И чего? А того, что я, дурень старый, получается, его развязал! Хозяин-то у тебя, Варнак, ой глупый уж стал! И не спорь! Кто опоил Родиона, а? Хозяин твой и опоил! И что теперь скажешь? То-то, и скажать тут нечего...

С того дня и загулял, крепко загулял Родька. Топором тюкать перестал, тюкал лишь вино. По несколько суток пропадал в Васильево, возвращаясь, отсыпался, похмелялся и снова уходил куролесить в райцентр.

IV

Антипыч, дожидаясь Родьку, сидел за столом, у окна. Он любил вот так посидеть зимними вечерами, глядя на падающие за окном мглистые сумерки, синевой трогающие снега. У ног старика, свернувшись клубком, мирно посапывал Варнак. От печи, подбелённой к празднику, довольно потрескивающей угольями, шёл жаркий, смолистый дух. Он мешался с тёплым запахом утретой на голбце овчины, резкой кислостью солений, терпким, пьянящим ароматом разнотравий, пучки которого висели на стене и крепким табачным духом. Из стоявшего у двери платяного шкафа, неплотно закрывающегося чуть покосившимися от времени створками, веяло извечной крестьянской бережливостью: пахло старым деревом и столярным клеем, множеством давным-давно и аккуратно хранимых в нём вещей, влажно тянуло слежавшейся бумагой. Все эти запахи знакомы и милы Антипычу с самого детства, они каждый день пробуждают в нём радость. И как тепло, уютно и хорошо в такие вот зимние вечера. Родные запахи словно обволакивают Антипыча спокойствием, мысли старика текут плавно и будто дремотно. Наглядится Антипыч в окошко, и вот уж взор его неторопливо блуждает по дому. И касаясь каждой вещи лишь только взглядом, чувствует Антипыч её тепло: всё здесь дарит старику воспоминания. Уж на что, а на воспоминания дюже зажиточен Антипыч: поди-ко, семьдесят с лишком годков богатеет.

Но в этот, последний вечер уходящего века, уходящего тысячелетия старика томила печаль. Не давящая, не тяжёлая была эта печаль. Светла и смиренна была его грусть, какая случается обычно по осени, когда с неба слышатся прощальные песни журавлиного клина. Причину этого чувства Антипыч понять не мог. Оттого ли, что заканчивается день? Будут ещё другие, но именно такой уже никогда не наступит. Оттого ли, что завершается век? Век, в котором прошла вся его жизнь, такая долгая и такая, иной раз мнилось, короткая. Истончился век уж до крайности, до последнего листка в календаре. Оттого ли, что и сам Антипыч истончился — скоро и вовсе всем людям невидимый сделается.

Смерти Антипыч давно уж не боялся. Рассуждал он так: вот схоронили и супружницу, Катерину, и отца, и мать, и прадеда уж давнёхонько схоронили. Но ведь помнит их Антипыч, каждый день вспоминает. Живут они в его памяти, значит, живут, в душе ли, на сердце ли. И вместе с ними памятью своей он вобрал и их память, в которой живут их деды и прадеды. Каким непостижимым и великим замыслом всё объединено Богом! Так и Антипыч станет жить — в памяти. И не только людской, но и в памяти родной земли. С каждым её комочком, с каждым кусточком и деревцем, со всякой живностью чувствовал он кровное родство, всё было любимо им, и всё отвечало ему взаимностью. Он пахал землю — она разрешалась для него плодами. Он, как и его отец, учил своих и соседских ребятишек не разорять птичьи гнезда, лазал по деревьям, устанавливая скворечни, вешал кормушки — и пташки наперебой пели ему и ребятишкам свои волшебные, разноголосые песни. Он благодарно глядел на восходящее и заходное солнце, а оно, озоруя, сговоровившись с берёзами, что росли у окон, наполняло избу мягкими и причудливо изменяющимися бликами, а души жильцов — по-детски трепетной радостью. Каждая тропинка здесь исхожена и памятна Антипычу, в благодарности ли, в восхищении ли, благодатном уважении и почтении, везде оставалась крупца его души. Потому верил старик — и ему найдётся малый закуток в извечной, неувядаемой памяти родной земли. А значит, пусть и неосязаемая, но хоть какая-

то частичка его через это сохранится в родимом краю. Тогда он, Антипыч, необъяснимо и незримо останется здесь, в этой сказочной, уютной для него глуши, и также будет любоваться этой тихой, нескончаемой жизнью, слушать мягкий шорох ночных дождей, предрабачные песни птиц и ласковый шёпот берёз.

Оттого ли грустил старик, что теперь, со смертью Настёны, вечерами не видно в соседских окошках огонька? Оттого ли, что мрачными тенями стояли избы, и не желтело в их оконцах тепло жизни? Но ведь есть ещё Родьки Сулопарова изба, хоть и не видно её. Ведь жив и Антипыч, стало быть, жива и деревня. Но на Родьку надежд не было. И старик думал, что он и родная его деревня закончат эту жизнь в один день. Деревня, побуждающая его жить и дышать, делает последний вздох вместе с ним. И у обоих начнётся другая, незримая жизнь. Деревня медленно обратится в лес и, наполненная отрешённым покоем, укутанная прелым листом, заботливо укутанная подлеском, укроется в сырой тени под сенью деревьев.

Одиночество ли тяготило старика? Если бы ему задали этот вопрос, он, верно, не вдруг смог бы ответить. Но почесав затылок, сказал бы: «Всёшки, по-моему, выходит так: на родной земле человек одинокой быть не может. Верно я говорю, Варнак? Вон, гляди — машет хвостом. Одобряет, стало быть. Зимой, оно, конечно, потише. Но раз в неделю автолавка приезжает. Мишка, что шоферит при ей, всякой раз уважит разговором старика. С людьми завсегда веселей... Нет, зимой тоже хорошо. Днём пойдёшь, в кормушку на берёзке сыпанёшь проса или сальца кусочек подвесишь. Потом глядишь в окошко на пташкину радость — и тебе удовольствие. Или снежок пойдёт: сидишь себе, чай попиваешь, дак диву даёшься — и откуда такая красота?! Когда, значит, крупный снежок валит — вовсе чудно. Они, снежинки, будто анделочки, на землю летят-то. Хорошо-о-о глядеть-то! Утречком, бывает, выйдёшь — снежок искрит! Чистый, нетронутый. Тропинок начистишь, снегу-то покидаешь, кровь разгонишь, запалишься. В избу вернёшься — тепло, хорошо. Дак и соснешь потом часок-другой. А уж как к весне дело, дак и вовсе нам с Варнаком хорошо делается.

Тут уж наша вольница! Всякая букашка, травинка — и та жизнью кипит. Только и поспевай примечать! А мы с Варнаком до всего интерес имеем. Бывает, пойдем в лес, залюбуемся, да и день долой. Ну и огородишко у нас, он тоже внимания требует. Летом, покуда дороги сухие, опять же, дачники ездят. А то гляди, дети с внуками в отпуск-то приедут. Внукам, им тут вовсе раздолье: и тебе лес, и река. В этот год, правда, не смогли приехать... Нет, нам тут с Варнаком ладно живётся».

И несколько не sluкавил бы старик в этих своих словах.

После смерти Катерины (дети к тому времени уж разъехались по городам) немногочисленные погорельцевские мужики и бабы стали поговаривать, что вовсе блажной сделался Антипыч. Хозяйство держать перестал, управлялся лишь в огороде. Про то говорил: «Я вот после фронта и курицы зарубить не могу. Катерина всё дивилась, дескать, как ты только и воевал, ума не приложу. Да. А теперь-то мне чего? Не больно много мне одному теперь и надо». И в огороде фортеля выкидывать принялся. Как-то углядели за ним: вскапывал Антипыч огород, вдруг остановился, лопату бросил, и на коленях чего-то заелозил по земле.

— Ты, Антипыч, никак клад нашёл? — окликнули его.

— Муравейник я нарушил! — отозвался старик. И, не обращая внимания на колкую болтовню, сокрушённо говорил уж сам с собою да с муравьями. — Ах ты ж, сколько трудов бедняги положили, и всё порушил... сейчас, сейчас, ребятки, я вот комья большие уберу, малость сподручнее вам будет откопаться-то.

То Настёна-солдатка к Антипычу шла чаем одолжиться, да и встала, как вкопанная: под окнами своей избы, у бревна, где любил он вечерами в тёплую пору посиживать, старик бодяки да сурепку высаживал.

— Ты чего это, Антипыч, робишь? — удивлённо спросила Настёна.

— А вот, сама видишь, сажаю, — ответил Антипыч.

— Батюшко, дак ведь сорную траву-то сажаешь! — дивилась Настёна.

— Знамо дело, девка, не пшеницу! — сказал Антипыч, глядя на пышные розовые цветки бодяка и солнечные, ярко-жёлтые кисти сурепки. — В огороде им не место, так я и думаю: чего зазря красоту изводить? Ну и решил — возле бревна-то и прикопаю. Оно так всем получше и будет. Мне на радость, да и вот им не пропадать...

То у колодца огорошил Настёну — закатал рукав на рубaxe и полез рукой в заросли жалицы. Вынув руку, обернулся Антипыч, довольный. — А-а-а! Словно мальцом побывал! За-а-амечательно жалит!

Так и жил «блажным» Антипыч. И невдомёк людям было, что только это отрешённое созерцание и участие в тихой, маленькой жизни и помогло старику перестрадать смерть жены. Смотрел Антипыч в небо — и в облаках умел углядеть то зайчика, то медвежонка. Восторгался каждой букашке, её тихой жизни и дивился её прочному знанию своего земного предназначения. Варнаку, бывало, сказывал: «Вот, погляди, мураш! Нет, ты морду-то не вороти, ты погляди, погляди на пыхтуна! Таковую ношу тянет — и самого за ней не видать! Пыхтит, поди-ко, но тащит, не сдаётся! Вот прихлопну его рукой — из него и дух вон! И чего? Что, я с того себя да жизнь свою лучше понимать стану? Нет, Варнак, не стану. А он понимает. Ему сомневаться некогда. Или вон пырей у колодца. Уж топчу его, топчу, ты, бывает, подливаешь, и всё ему нипочём! Сила-то в нём какая! Тихая, неброская! Но — сила! Может, потому, что в них, вот в мураше да в пырее этом только Божье и есть? А? Вот и думай».

Всякой поре радовался Антипыч. После удачного, громом буркотящего майского ливня, тёплого ли летнего дождя, отворял старик окна и вдыхал, вдыхал густой от запахов воздух. И всё было в нём: пресный дух насыщенной земли, и всякий раз диковинный, с хмельком, аромат умытых трав, и стронутая дождём из лесов смолистая горчинка хвои. И осеннему дождю, что по-стариковски мелко частил по крыше, тоже радовался Антипыч. Глядел на поникший дремлющий лес, окутанный, будто сизым куревом, на причудливые изгибы крадущихся вниз по оконному стеклу капель и сорванные ветром, жёлтыми сердечками прилипшие к оконцу берёзо-

вые листья. Остались позади огородные хлопоты, в подпол ссыпана картошка-матушка, окрестные леса исхожены: хватит грибов и ягод. Думы о хлебе насущном утихли до весны. Неслышным делался дождь, всё на земле задумчивым, безмолвным казалось, исполненным тихой и сладкой печали. И ясно приходили на память, возвращались давно отжитые дни, и делалась былая жизнь проглядной, будто ровная степь. И словно очнувшись ото сна, сворачивая сигарку, старик с улыбкой на посветлевшем лице говорил Варнаку в такие моменты: «Скоро уж зимушка пожалует, покроет всё белым-бело, носы морозцем нам с тобой и пощиплет».

V

Совсем уж потемнел за окном вечер, когда Варнак наострил уши, встрепенулся и залился неустрашимым звонким лаем. Пролаяв, мотнув ушами, довольной мордочкой обернулся на хозяина, дескать, дело своё знаем, службу свою неусыпно бдим. Едва похвалил старик Варнака за усердие, как скрипнула дверь, и появился на пороге Родька. Был он уже на развезях, глаза его пьяно и мутно блестели.

— Вот! Обещался — и как штык! Закон! — громко заявил Родька и вынул из кармана бутылку водки.

Антипыч принялся собирать на стол, а Родька уселся у стола, стал разглядывать комнату. И хоть изба была тоже вековая, как и родительская, в какой ныне обретался Родька, и всё в ней, и мебель, и вещи тоже были старые, но здесь не веяло барачной безуютной непрочностью. Во всём тут крепко чувствовалась давняя жизнь и даже давно позабытая Родькой тёплая, приятная устроенность. В подбелённой печи, в потёртых, домотканых разноцветных половиках, в занавесках с меленькими цветочками, прикрывавших голбец, в помутневшем от времени зеркале, в аккуратном рядке чёрно-белых фотографий, что висели в простенке, во множестве баночек-скляночек и горшочков, какие стояли в посудном шкафчике, виделось тихое и ладное течение жизни. А ведь Родька помнил время, когда и в родительской, родной его избе было также. Ворохнулась в нём неясная обида. Отчего ж так случилось, что

промотал он свои годы по казённым баракам, комнатам шумных общаг и каютам траулеров, не найдя нигде крепкого пристанища? «Если хочешь жить в уюте — ешь и пей в чужой каюте», — вспомнилась Родьке морская поговорка. «Вот и таскаюсь по чужим каютам полжизни. Бросить всё к чёртовой бабушке? Нет, брат, шалишь! Я ведь тут взвою через месяц. Моей душе простор, широта нужна! Кураж нужен! Я, в конце концов, не старик. Вот ему, Антипычу, сейчас понятно — ни куража, ни простора не надо. Почему ему раньше всё это не нужно было? Нет, не может такого быть! Это он врёт. Духу ему не хватило уехать. А мне теперь сказки плетёт — как прекрасно жить в родной деревне. Я вот, мол, намучился, пострадай и ты» — несвязные, пьяные мысли роились в Родькиной голове.

Той стороной рассудка, какую пока не взяло брыкливое, омутное вино, ещё понимал Родька, что в маете его совсем не повинен Антипыч. Ещё понимал, что широта и простор в нём давно уж сузились до крикливых попоек. И потому вместе с пьяной, застарелой тоской раздражение подспудно, исподволь копилось в нём. Его раздражала даже маленькая, сантиметров в тридцать, давнишних времён искусственная ёлочка, скромно приютившаяся на лавке под красным углом, украшенная несколькими потускневшими шариками, клочочками ваты и блестящим дождиком. Родька отвернулся от ёлки, блуднул по избе взглядом и в углу за платяным шкафом увидел ружьё - «тулку». Позабыв про свои думы, тут же достал Родька ружьё:

— Ух! «Тулка»! Вещь!

— Дак отцова ещё. Довоенная, — подтвердил Антипыч.

Родька принялся вертеть «тулку» в руках, рассматривая со всех сторон. Вскинув ружьё, он уцепился в Варнака.

— Ты, парень, ружьишком-то не балуй, — старик рукой увёл стволы «тулки» вверх, затем и вовсе перехватил ружьё. — Заряжено.

— А чего заряженным держишь?

— Мало ли чего, — ответил Антипыч и положил «тулку» рядом, на лавку. — Нынче тут, бывает, народ ходит всякий.

Старик принялся рассказывать про то, что в последние годы стали объявляться в деревне какие-то бродяги с колючими лицами, равнодушные ко всему, испытые бездомники и искатели старины с плутоватыми, бегающими глазками.

— То ходят по домам, иконы или ещё чего ищут. Демидовых, в верхнем конце они жили, помнишь? Дак их избу и вовсе спалили. Бездомники, видать, ночевали, да и спалили.

Родька, рассматривавший в это время военную, висящую в простенке фотокарточку Антипыча, усмехнулся:

— Видал. Одна печь теперь торчит. Ты, значит, всё воюешь? Кому оно теперь всё нужно-то?

— Воевать — не воюю. Однако не дело по чужим избам хозяйничать да тащить всё, что ни попадя. Ну, давай садиться, Родион.

Родька уселся и кивнул в сторону телевизора:

— Чего не включишь? Даже кружевом завесил. Не смотришь?

— Дак раньше смотрел, — произнёс Антипыч. Он поднялся, подобрал наверх кружевную занавесь на телевизоре и включил его. В телевизоре что-то защёлкало, не сразу появилась и чёрно-белая картинка: шибко раскрашенная девица, дрыгая оголёнными дородными ляжками, горланила нехитрую песенку.

— Во! — одобрил Родька, и уставился на девицу.

— А нынче, — Антипыч тоже поглядел в телевизор, — всё про чужое и говорят. Будто и не наше вовсе. Иной раз и не поймёшь, об чём толкуют. Новости, те, бывает, смотрю. Вот Катерина моя, Царствие ей Небесное, вот она последние годы вечерами глядела в него — не оттащишь. Тогда про Марьиванну эту, ихнюю показывали.

— Марианну что ль? — усмехнувшись, осведомился Родька.

— Во-во, её! Всё у неё там того, с мужиками чего-то не ладилось никак. Ага. Как вечер — дак Катерина сидит перед телевизором и слёзы льёт. Чего, спрашиваю, реветь? Оно понятно, бабе иной раз и пореветь-то надо. Дак ведь не каждый же день? А то распорядок у ней взялся: вечером — в слёзы. Так же, думаю, и свихнуться недолго. И бузу поднимал, и

бранились мы с ней — ну видано ли где, чтобы целый год по вечерам про одно и то же в телевизор глядеть да сырость разводить? Всё одно: назавтра сызнова смотрит. Эх, а вообще ты не подумай, мы с ней жили-то ладно, душа в душу.

Родька привычным движением открыл бутылку водки, налил себе и старику:

— А что, давай, Антипыч, жену твою помянем? Хорошая жена у тебя была, Антипыч. Я тётку Катерину — во как помню! Я её уважал всегда!

Выпив, Родька спросил:

— Слушай, а она тебя не ревновала? Ты ж, вон, сколько по вдовам побегал.

— Дак оно ежели с умыслом бегать, то и приревновать не грех, — пожал плечами Антипыч. — А я какую кому упочинку сделаю — и дальше пошёл.

— Упочинки бывают разные, — засмеялся Родька. — Ну, признайся, давал, поди, жизни?

— Да ну тебя! Говорю ж — по хозяйству помогал.

— Врёшь ведь? — не унимался Родька.

— Не вру.

— Что, никакую даже к сведению не принял?

— Вот пристал, что смола! Не было ничего и в мыслях. А Катерина, она не то, что ревновала, нет. Там поначалу другое было. Говорила, мол, у самих в хозяйстве разруха, то сё поделать надо. А ты, дескать, по чужим дворам носишься. Так иной раз и вздыхала: «Ну что, поночёвщик, садись, ужинать будем». Мать сказывала про неё: «Катерина-то, по дому хлопочет, хлопочет, а сама всё в окошки поглядывает. Тебя высматривает. Уж как завидит, дак не ходит по избе — порхает».

Антипыч провёл ладонью по увлажнённым глазам.

— Эх, — выдохнул Родька и потянулся к бутылке.

— Как моряки говорят: давай за тех, кто в горе!

Родька снова почти ничего не ел. Закусывал лишь солёным огурцом.

— Ты, парень, ешь, — наставлял его Антипыч. — Не то развезёт. Вот, обабков попробуй. Сам собирал да солил.

— Был бы дождик, был бы гром, нам не нужен агроном! — ответил Родька и засмеялся. — Давай! Грибы под это занятие я уважаю! Это дело законное!

Родька снова «начислил».

— Ой, не частил бы ты, Родион, — покачал головой старик.

— Антипыч, не переживай. Родька Суслопаров норму знает чётко! Закон! — и подтверждая свои слова, рубанул ладонью по воздуху. — Я ещё в Васильево до утра гулять стану! Никак целое тысячелетие провожаем и новое встречаем! Такое — раз в жизни! Вот это — я понимаю, широта! Дым коромыслом стоять будет! Ну, с наступающим, Антипыч!

Родька испытанным, лихим движением влил в себя водку, поковырял чуть обабков в тарелке.

— Бедовый ты парень, Родион! — улыбнулся Антипыч.

— Бедовый! Ух, бедовый! — сжал кулаки Родька. Был он уже в том состоянии, в каком и каяться хотелось перед стариком в своей бедовости, и взбунтоваться перед всем миром — какого это рожна он, Родька Суслопаров, бедовый? Он не хуже других!

Родька широко расставив локти, чуть наклонился к столу и подался вперёд.

— Ты вот мне скажи, Антипыч, но чтоб как на духу, — произнёс он и пристукнул кулаком по столу. — Вот как на духу!

Варнак, лежавший на половике, встрепенулся и поднял голову.

— Я одного понять не могу. А через то и тебя не пойму, — прищурился Родька. — Ладно, Настёна. Вся жизнь одна прожила — ей деваться некуда. Но вот ты, Антипыч, чего отсюда не уехал? Дети-то к себе звали али нет?

— Пошто не звали? Звали. И поныне зовут. Только не хочу я никуда.

— Как так? — недоумевал Родька. — Один ведь останешься. Я-то уеду. Дело решённое. Тебе здесь чего теперь делать? Пропадать? А захвораешь — тогда как? Матушку-репку петь?

— Отчего ж пропадать? — удивился Антипыч. — Мне здесь всё радостно. И земля, какая вокруг, и леса, и Шумилиха наша, и воздух. Да что там говорить! Вон за окошком берёзки растут. Летом, знаешь, как начнёт солнышко в их веточках да листиках играть, зайчиками пятнить-пятнить — и до того развесёлый свет в комнате, что душа, парень, лику-

ет! Ни с какого вина не бывает такой радости, нет! Иной раз смотрю-смотрю, дак и запою — вот до чего хорошо делается! Сколь живу, а всё не насмотрюсь никак. Да... А ещё в конце мая у берёзки листочки-то молоденькие совсем, свеженькие, от пыли ещё не огрубевшие. Ветерок подует — и как она, парень, запоёт-зашепчет! Только и слушай. Они, деревья, по всякому, бывают, поют. И грустную, ближе к осени, случается, затянут. Но вот эдак раздольно, чисто — это уж только берёза в конце мая...

Антипыч закурил и продолжил:

— Нет, Родион. Мне отсюда дороги нет. Тут моя земля, тут Катерина моя, родители мои здесь. Их могилки досмотрю — рядом и прилягу. Вот ты говоришь, мол, захвораю, ежели. Хворать начну — дак шабаш. Чего ж. Прадед мой говаривал: «Примусь недужить — грешить перестану». А помереть мне вот тут — оно, брат, не страшно.

— Вот ты весь такой первосортный, — снова раздражаясь, проговорил Родька. — А о детях ты подумал? Им чего прикажешь делать: ихний папаша один живёт в глуши, а им подпрыгивай день через день — как он там, жив аль волки доедают?

— Я, Родион, и об этом думал, — ответил Антипыч. — Гостил я у ребят своих. Оне городские уж стали, со своим уставом. А тут я — старый пенёк лёг поперёк. От безделья у меня там завихрения всякие в мозгу сделаются, им потом перед жёнами объяснения держать. Того и гляди, разлад пойдёт. Да и кварталы какие. Скворечни, а не кварталы — в них им самим ткнуться некуда. Друг другу пятки с ребятнёй топчут, а тут я ещё. Нет, парень, не дело это.

— А, живи, коли лешачить охота! — с досадой отмахнулся Родька. — Я вот покуражусь неделю и поеду. Завербуюсь, ничего, не пропаду! Ничего здесь нет, в глуши этой, Богом забытой. Ничего нет!

— Богом забытой, — тихо и медленно повторил старик и продолжил уже оживлённее. — Вот ты сам, Родька, как говорил, когда Настену схоронили: «Хорошо, что сами управились». Оно и вправду хорошо, что сами. И ты доброе дело сделал — помог. Видишь как. Доброе дело вышло — и душа-то твоя оттаяла тогда. Значит, не забыл Бог ни нашу землю, ни нас с тобой не забыл. С нами он.

— Не верю я! — зло процедил Родька. — Ни в Бога, ни в чёрта!

И потянулся к бутылке.

— И я не верил, — сказал Антипыч. — Дак на фронте припекло, грешного, поверил...

Что-то Родька говорил старику, но он в это мгновение не слышал слов.

VI

Антипыч вспомнил свою двухэтажную школу и её директора, Якова Натановича, с фамилией, на которой всякий русский язык спотыкался — Тейтельбойм. На щеке его полыхал рубец от калединской сабли, а на неизменном френче — орден Красного Знамени. Всегда грозным казалось его смуглое лицо, говорил он громко (был он после контузии чуть туговат на ухо) и слова у него получались резкие, будто саблей вырубленные. Ребятишки пуше всего боялись получить выговор от Якова Натановича, но уроки истории его слушали с открытыми ртами, и не из-за страха — очень увлекательными были рассказы директора. Иной раз мнилось, будто Яков Натанович разит сверкающими чёрными очами ясно видимых им в этот момент врагов Отечества — шведов, французов, немцев и, конечно, «беляков».

А когда явил Яков Натанович ребятишкам настоящее чудо — в васьильевском клубе вместо уроков приезжий дядечка показал кино — «Чапаев», ох, какие сделались с парнишками перемены! И в бабки, и в казаков-разбойников играть перестали, собираясь в ватаги, всё больше «сражались с беляками», а на уроках просили рассказать про Чапаева. Услышав, что и у Чапаева был орден Красной Звезды, смекнули ребята: ведь Яков Натанович тоже герой! Вскоре его имя обросло всяческими военными небылицами — у детворы с этим быстро: сегодня напридумывают директору подвигов, назавтра уж сами в них верят. После того, бывало, даже спорили, кто сильнее — Чапай или Яков Натанович? И когда видели ребята Якова Натановича на улице, в школьном коридоре, или заходил он в класс, трепетали их детские сердца. Мечтая о подвигах, орлами, смельчаками и

сами горделиво ходили парнишки — не чей-нибудь герой-директор, нашенской! Не знали ещё — и на их долю война припасена...

Павлушка, носивший пионерский галстук, повязанный не кем-нибудь, а директором, с замиранием сердца внимал всем словам Якова Натановича. О настоящих чудесах рассказывал директор: об аэропланах, летающих прямо по воздуху, о подземных железных дорогах, о создающихся электростанциях, дающих такую силу, которая больше, чем у сотен тысяч лошадей! Показывал газетные фотографии строящихся огромных заводов, читал о помощи голодающим, какую оказывает Советская власть.

Всё услышанное Павлушка с восхищением пересказывал дома. Кроткая и набожная мать иной раз боязливо крестилась:

— Прямо по воздуху? Страсть-то какая... Спаси и сохрани!

Голос её вздрагивал — от переживаний за неведомых людей, летающих по небу, у неё перехватывало дыхание.

— Мама, ведь Бога нет! — говорил ей Павлушка.

— Как же нет, сыночек, — тихо отвечала мать, и глаза её влажнели. — Ты хоть и малый, а не говори такое. Грех это большой, сыночек.

— Это старорежимное всё! Пережитки. Нету Бога! Мама, ведь дурманили вас, — упорствовал Павлушка, повторяя слова Якова Натановича. — Попы дурманили. Они с царями заодно были. Сплататорам помогали! И сейчас они всё артачатся, союзничают с кулаками. Антисоветские они алименты!

— Ой, сыночек, — мать одной рукой держалась за грудь, другой касалась Павлушкиной руки. — Ты хоть про то при тятё не сказывай — ещё попадёшь под руку.

Павлушка увидел, как слезинка скатилась по щеке матери, ощутил в руке дрожь её пальцев, и стало ему жалко маму. Решил — больше таких разговоров дома не заводить.

Когда в Васильево рушили церковь, Павлушка с ребятами тайком убежали туда — смотреть. Много пришло людей к церкви тогда. Кто просто поглазеть, а кто и проститься. Старухи беззвучно плакали, старики же всё больше под ноги себе глядели. Рва-

нул заряд — и паперть, и шатёр заволокло серо-белым дымом (церковь была белокаменной), лишь золотистая луковка купола, вздрогнув, ещё блестела на солнце несколько мгновений, и вдруг протяжно и печально, будто живая, ахнув, сложилась она в последнем, до земли, поклоне.

Возвращаясь в деревню, муторно, дымно отчего-то было на душе у парнишек и, словно заглушая неясное чувство, хорохорились они друг перед другом, насмешничали:

— Ох и рванули! Только и дым пошёл!

— А бабки рыдали!

— Был бы Бог, дак помог!

— Дали попам по кумполу!

У ворот Павлушка встретил Федьку, старшего братана. Он наскочил, подзатыльник отвесил:

— Ты где запропал? За тобой посылали. Уж и на реку бегал, и за поскотину, и в лес — нигде нету! Где был?

Павлушка, напустив лихости, громко повторил слышанное от ребят:

— Глядели, как церковь рушили. Ох, Федя, как рванули! Только дым пошёл! Дали попам по кумполу!

Сказал, и вздрогнул — в приоткрытых воротах появился отец. Он тихо сказал:

— Ступай в избу...

И когда отгуляла лазина по оголённой сыновней «шумовке», отец также тихо и грустно произнёс:

— Ты у нас, Павла, учёный стал. Про иропланы вон рассказываешь, да про всякое, к чему и подступиться боязно. Вот тебе и моё ученье: чего не ведаешь — не погань дрянным словом. А теперь ступай...

С той поры перестал Павлушка в Бога, как другие парнишки, лаяться, перед матерью прекратил разглагольствовать и научать, однако ж, глядя на её молитвенное усердие, втайне, не зло, но посмеивался. Потом и вовсе о Боге забыл: началась война. Работать стал Павел наравне со взрослыми — летом в поле, зимой на лесозаготовках.

Осенью сорок четвёртого, как исполнилось Павлу восемнадцать, пришло и ему отправляться на фронт. В последние минуты прощания, чтобы скрыть смятение своё, неловко храбрился Павел, обещая родне, что возвратится со скорой победой.

Угадав сыновнее чувство, мать подошла к нему и долго, будто стараясь получше запомнить, глядела на него поблёкшими, выплаканными глазами. Две казённые, страшные бумаги на старших сыновей уж лежали в её сундуке. Мать взяла руку Павла, и в ладонь его что-то вложила, придержав пальцами. Едва слышно сказала:

— Ты уж, сыночек, не сердись. Возьми ладанку, в ней крестик твой, что не носишь. Коли не хочешь на шее, понятно, так не носи. Ты её в кармашек спрячь, и пусть себе лежит. Уважь, Павлуша, мать-старушку, уважь, родненький. Ведь один ты у нас из сынов и остался...

Не стал перечить Павел матери, шепнул лишь — спасибо. Сунул в карман и чтобы самому не разрываться, поддал голосу:

— Ничего, поквитаюсь за братьёв! Отомщу! Мы уж добьём гадов!

Добивать немца довелось Павлу в Венгрии. Уже весной сорок пятого, в начале марта, у Балатона-озера попал его полк под страшную атаку немецких танков и мотопехоты. Торопливо и резко тявкали где-то сзади орудия, звонко отвечали им танки. Смердящий дым, мнилось, выел всё небо, и земля не казалась Павлу твердью — его, не спавшего двое суток, колыхало вокопной, грязной зыби. Он оттащил раненного взводного, лейтенанта Борю в боковую щель и долго пытался его перевязать. Руки Павла не слушались, лейтенант то часто перебирал ногами, то неестественно выгибался, жутко хрипел и скрёб пальцами по стенкам щели. Павел поднялся, чтобы оглядеться и позвать на помощь. И в это мгновение что-то бело-жёлтое ослепительно вспыхнуло, ожгло ему лицо, глаза, показалось, даже рассудок страшно ожгло. Дикая боль и отчаяние, и зловонный дым бешено закружились в дьявольской жёлто-чёрной пляске, и всё вдруг лопнуло искристыми брызгами и исчезло...

Очнулся Павел от холода. Шёл студёный мартовский дождь, и частые его капли шипели по лужам, примешиваясь к усталым хрипам далёкого боя. Не сразу понял Павел, отчего такая непроглядная тьма. Он пошарил рукой вокруг и ткнулся ею в стенку окопа. Словно острая льдина уколола его страшная

догадка — он ничего не видел. Павел прикоснулся к глазам: они были на месте, но под какой-то болезненно сочащейся, липковатой коркой. Но, может, это просто грязь? Павел напрягся всем телом, пытаясь открыть глаза, но ничего, кроме боли, из этого не выходило. Он отнимал руки от лица, привычно пытаясь посмотреть на них, снова подносил их к глазам и аккуратно ощупывал их. И чем больше Павел касался того места, где были его глаза, тем невесомее от ужаса делалось его тело. Он ослеп! Голова до тошноты разламывалась от боли. Может, это контузия? И тогда зрение скоро вернётся к нему? И ведь рядом должны быть наши! Они помогут!

Павел стал звать на помощь, но никто не отзывался. Может, его не слышат? Павел принял-ся искать свою винтовку, шарил руками вокруг. Вздвигнув, одёрнул руку — рядом кто-то лежал.

— Лейтенант, ты? — прошептал Павел. — Лейтенант, ты живой?

Никто ему не ответил. Павел поводит рукой, коснулся лица — оно было безжизненно холодно. Павел нащупал часы на руке лежавшего. Да, это был лейтенант. Во взводе часы имелись только у него.

— Ты уж прости меня, Боря, — дотронулся Павел до руки лейтенанта.

Так и не найдя своей винтовки, Павел на четвереньках пополз по траншее. Он мысленно представлял себе профиль траншеи и полз к тому месту, где была землянка. Но землянки Павел никак не мог найти. Траншея местами была завалена землёй — видеть, через неё прошли танки. Павел потерял все ориентиры и окончательно заблудился и выбился из сил. Он снова позвал на помощь и вдруг осёкся. Может, немец прорвался и теперь он в ихнем тылу?! А ежели он сейчас накличет немца? Павлу стало страшно. Нет, он боялся не столько смерти, сколько того, что над ним, слепым и беспомощным станут издеваться и потешаться. Он вдруг вспомнил, как играл с ребятами в бабу-куцу, когда ему завязывали глаза и весь мир волнующе превращался лишь в дразнящие звуки. Павел представил себе немцев, гогочущих над ним, невидящим и ползающим в грязи. Нет, он не позволит им просто так, за здорово живёшь, веселиться. Павел ощупал левый бок — подсу-

мок на месте, в нём гранаты — «фенюши». «Значит, не видать мне победы. А бой я приму. Рвану — и дело с концом», — подумалось Павлу. «Посмеётесь! Будет вам смешно!» — зло произнес он, словно встреча его с немцами было делом решённым. И ему стало жалко себя, своего безвестного одиночества, теперь уж наверняка пропавшей молодости и погибшей жизни, стало жалко павших братьёв. И особенно — маму. Припомнился Павлу её полный боли и надежды взгляд в последние минуты. Горький, покалывающий комок подкатил к горлу. Мама!

Вдруг Павел вспомнил о ладанке, что дала ему мама. Она была в кармане гимнастёрки. Озябшими пальцами он судорожно стал расстёгивать намочивший ватник, нашарил ладанку. Павел прижал её к груди, боясь потерять. Он пальцами нащупывал, угадывал очертания крестика. «Господи, спаси! Помогите мне, Господи! Помогите, Господи, мне снова увидеть! Не дай меня на поругание!» — принялся шептать Павел...

...Очнулся Павел днём. Он ясно понял, что день. Глаза не видели, но сквозь веки чувствовался дневной свет. Радость мгновенно сменилась тревогой потери: но ладанка была крепко зажата в онемелой руке. Павел перезабыл все молитвы, каким его в детстве учила мама. Он стал молиться, как умел.

На ощупь Павел выбрался из траншеи, пополз в ту сторону, где хрипела теперь передовая. Но будто с ним кто-то, как в детстве, играл в бабу-куцу: казалось, хрипы передовой слышались то впереди, то сзади. Павел сослепу угодил в какую-то воронку. В ней хоть немного перестал донимать промозглый ветер. Павел сжался калачиком на дне воронки, пытаясь хоть немного угреться. Он молился, впадал в забытё, приходил в себя, молился, и снова беспмятство избавляло его от холода и боли. Так прошёл остаток дня и мучительно долгая ночь.

Весь следующий день Павел слышал шум двигателей, и казалось, до него долетали обрывки немецкой речи. Он пролежал этот день в воронке, жадно вслушиваясь в каждый звук. Ночью выбрался из воронки и долго полз по густой, вязкой грязи на звуки боя. Когда ему изменили силы, он снова свернулся калачиком и уснул лихорадочным, зыбким сном. И

когда Павел проснулся, произошло чудо: он услышал такие милые, такие родные, самые обычные русские слова! Павел изо всех сил стал кричать, звать на помощь. Он встал на колени, снова кричал, целовал грязную ладанку, зажатую в руке, благодарил Бога и опять что-то кричал...

Павла нашли в двухстах метрах от траншеи.

— Какого ж ты полка, парень? — спросил его сильный голос и кто-то сунул ему фляжку с водкой.

Отпив, прокашлявшись, Павел назвал номер полка.

— Да, довелось тебе, — сочувственно ответил тот же сильный голос, и кто-то вложил ему в руку сигарету. — Ты, браток, покури, покури...

В госпитале врачи, аккуратно возясь в его обожженных, слипшихся, коркой взявшихся веках, говорили мудрёными словами, а Павел вслушивался, боясь шевельнуться. Когда слышалось нехорошее в их хитрых фразах, Павел обмирал от ужаса, но потом чей-то строгий голос сказал:

— Ну вот, солдат, видеть ты будешь. Может, не так хорошо, как раньше, но будешь точно. А пока побудешь в повязке. Да, вот так.

VII

— Чего ты, парень, говорил? — рассеянно спросил Антипыч у Родьки.

Родька склонил голову набок, глаза его были мутны, но в них заиграл чёрный, колющий блеск. Дурная кровь, что так долго копилась от обид и неприкаянной маеты его, теперь взбродила и пенилась в Родьке.

— Ты вот про фронт сказал, мол, поверил. Ты за такую жизнь воевал? Вот она! За такую? А?! Пусто! Кругом пусто! Я поездил, повидал страну! Везде, Антипыч, пусто! — распаляясь, тут Родька сжатым кулаком постучал себя в грудь. — А ты? Ты ведь сыто и не ел толком никогда! Ты ж не знаешь! Богатым ни дня не был! А власть?! Это как же — отбоярилась она от нас! За что воевал?

— Как за что?! — старик повысил задрожавший от волнения голос. Дрожь эта против его воли собралась у сердца, и кровью её разнесло по всему телу.

— Не мы на него войной пошли, а он! Он убивать, грабить пришёл! — На нашу землю! Землю эту мои прадеды веками пахали, и супостатам всяким холки мяли! Они эту землю слезами, кровью да потом, почитай, вглубь на версту оросили и в неё же легли!

— Пахали! — перебил его Родька. — Отец мой был природный пахарь... вот и допахались! Да! А в ихней Германии живут вон, по штрассам, ровнёхоньким своим, ездят! Чистота да порядок везде! Вон, по телевизору показывали! На фазендах живут, или как их, чёрт! Пиво пьют и в ус не дуют! Жизнь у них, понимаешь ты? Жизнь настоящая! А может, и у нас была бы!

— Что ж ты мелешь-то! Видал я ту жизнь, что для нас припасли! К фронту через полдержавы ехал — и везде ровно золу через сито протёрли!

Но Родьку уже несло, несло, словно падал он в какую-то бездну. И до подступившей тошноты мерзко ему было, и как-то сладко, плотно, как в драке подзуживало — давай, бей, колья ещё, выверни!

— А то, что дураки вы были! — крикнул он. — Упёрлись насмерть, осердили немца!

Антипыч прижал к груди трясущуюся ладонь, то ли жарко ему сделалось, пуговицу ли хотел расстегнуть, то ли душу свою пытался от Родькиных слов уберечь.

— Да, дураки! — не унимался Родька. — Руки бы вам в гору поднять, чтоб немца не злить понапрасну — и вся недолга!

Тяжело дыша, старик срывающимся голосом произнёс:

— Вот тебе Бог, вот порог! Уходи отсюда, подобру прошу.

— Что, нечем крыть стало? — кипятился Родька. Вовсю уже хороводили в нём бесы. — Теперь уж давай договорим, у нас теперь демокра-а-атия!

— А ты, Родька, мать, пожалуй, продал бы... Да, продал бы! — внутри у Антипыча klokотало сердце, звенела в голове кровь. — Вот что!

— Ты мою мать не трогай! — закричал Родька.

— И ты... не трогай! — задыхаясь, ответил старик.

Родька с перекошенным лицом что-то выговаривал Антипычу, но Родькин голос уплывал, делал-

ся глуше, будто доносился он откуда-то из подпола.

«Вот оно!» — подумалось Антипычу. Промелькнули перед ним звёзды на избах, лица братьёв, агония лейтенанта Бори. Вспомнились братские могилы, что оставляли за собой, по грязи и снегу, под огнём продвигаясь на запад. Увидел Антипыч лицо матери, в год сделавшееся старушечьим. Явились ему землистые лица баб, молчаливо возвращающихся с лесозаготовок, выполнивших непосильную дневную норму, выполнивших потому, что это нужно было стране, их мужьям на фронте, живым и мёртвым, и теперь расхившихся по избам и мучительно думающих, чем кормить голодных ребятишек. Антипыч вспомнил на этих же лицах слёзы радости и невысшей скорби в первую годовщину Победы, такую счастливую и такую саднящую неутихающей болью. Увидел Митроху-председателя, что вернулся с фронта без руки, бросившегося тогда перед бабами на колени. Отца, деда, прадеда вспомнил Антипыч.

«Вот оно!» — снова подумалось старику, и на ум пришли слова, давно и отчаянно сказанные самому себе: «Значит, не видать мне победы. А бой я при- му».

Антипыч схватил лежавшую рядом на лавке «тулку». Нет, не в Родьку целил он. Метил старик в то неясное и неявное, безликое зло, которое неприметно заползло из тёмных углов в души людские, застило им свет. Грохнул выстрел, кто-то грузно шмякнулся на пол и, взыв, засучил ногами ...

VIII

С серпа луны, остро заточенного, будто разбойничье лезвие, на землю струился тусклый, холодный свет. Антипыч остановился на верхнем краю деревни, поглядел на то место, где раньше стояла изба Демидовых. После того, как её спалили бездомники, от избы осталась только мрачно торчащая закоптелая, занесённая снегом печь. Вокруг печи вился бродяга-ветер. Он то высвистывал какую-то протяжную, сиротливую и печальную песню, то буянил, ухая куражливо, по-босаяцки. Старик снял с плеча ружье и, придерживаясь за цевьё, медленно опустился в снег. Первый, ошеломительный приступ гневной боли

прошёл, и теперь где-то глубоко внутри него, в груди, в животе, в коленях растекалась противная, ноющая ломота. Сидеть было легче — не подкашивались ноги, сделавшиеся ватными, непослушными, как в виденном им сегодня ночью сне.

— Вот к чему и снилось-то. Да. А мы с тобой, Варнак, и верно, как на войне, — сказал Антипыч и снова поглядел на печь, оставшуюся от избы. — Вот так-то, Варнак...

Но разговор с преданно глядящим Варнаком не облегчал Антипыча. Старик встал — теперь и сидеть сделалось невмоготу. Вообще всё сделалось тяжело: идти, стоять, сидеть, говорить, думать. Мысли лихорадочно сталкивались одна с другой. Казалось, Антипыч физически чувствовал их столкновения — у старика болела голова. Правда была на его стороне. Но ведь в правде всегда сокрыта сила. А в том, что он совершил, не было силы, наоборот, Антипыч увидел слабость свою. И противоречие это вдруг потрясло старика. Насколько слаб, неведомо для самого же себя слаб человек! Антипычу давно казалось, что он понимал это. Но там, на фронте, он чувствовал совсем другое — насколько зыбка и непрочна жизнь человеческая. А в эту минуту он ясно осознал, насколько слаб человек помыслами своими.

— Господи! Укрепи, укрепи меня, грешного! Не зла я хотел! Укрепи, Господи! Укрепи меня, грешного! — глядя на небо, взволнованно просил старик.

Облегчение не приходило, Антипыч, тропя снег, решительно двинулся к дороге на Васильево. За ним, словно заяц, прыгал по следам хозяина Варнак. На дороге Антипыч увидел следы. И понял: это вчерашним вечером возвращался домой Родька...

Выйдя к развилке, Антипыч остановился, оглядел холм, на котором было кладбище:

— Вот, Катерина, вишь как, значит. Муж твой, ровно разбойник какой, посреди ночи в тюрьму пробирается. Дожил! Уж прости ты меня, Катерина! Это я душой ослабел без твоего догляду. Мне уж давно пора к тебе. Вместе, как раньше, оно было бы нам с тобой ладно. А один я — вон чего напроворил. Судить будут. И пускай. Коли уж так, что ж теперь... теперь уж не то страшно...

Старик оглянулся назад. Глаза его слезились на

ветру. Внизу, в ночном сером мороке снегов без единого огонька оставалась родная деревня, и неясными тенями былого, уходящего тысячелетия, казалось, расплывались по снегу избы, будто раскатываясь венец за венцом.

Антипыч отвернулся и направился в Васильево. Ни слов, ни мыслей, могущих взять всё случившиеся в один охват, не было.

И неожиданно для самого себя, словно пытаясь исторгнуть из нутра надсадную горечь, выдохнул Антипыч:

Эх, дороги...

И дальше с простонам вывел:

Пыль да туман...

И, будто обнажая душу свою морозу, ветру, и суду человеческому, ломким от предсудорожного покалывания голосом дотянул:

Холода, тревоги,

Да степной бурьян.

Знать... не можешь

Доли своей...

Голос Антипыча дрогнул, запнулся, по подбродку пробежала судорога...

IX

Перед калиткой Анфисы долго отдыхивался Антипыч. Варнак жалобно поскуливал у его ног. Он чувствовал — что-то нехорошее, тревожное происходило с хозяином. От этого непривычного ощущения и долгой дороги он тоже очень устал и не понимал, для чего хозяин палил в доме из ружья и теперь вот, ночью, они пошли в такую даль.

Младшая сестра Антипыча, Анфиса, с мужем перебрались в Васильево ещё в середине шестидесятых, как признали родную деревню неперспективной. Муж Анфисы несколько лет назад помер, и жила она теперь с сыном Стёпкой. Стёпка работал на лесопилке, слыл балагуром, первостатейным ходоком по бабам и по этой причине был не женат.

Когда Антипыч с Варнаком появились в их избе, Анфиса смотрела телевизор, а Стёпка вертелся у зеркала, видать, собирался отмечать в гостях.

— А говорил — не приду! — радостно затараторила

Анфиса. — Оно и правильно, чего бирюком сидеть? И Варнака привёл. Ну, чего стал как неродной? Это у тебя там чего? Ружьё что ли?

— Я, Анфиса, ненадолго, — ответил Антипыч, стоя в дверях. — Пушай Варнак пока у тебя побудет.

— А ты куда?

— В тюрьму... ну или куда там скажут...

— Ты чего такое городишь? — поднялась со стула Анфиса.

— Ну-ка, Антипыч, пойдем за стол. Расскажешь, — Стёпка засуетился, заиграло в нём любопытство.

Антипыч поставил у двери ружьё, наказал Варнаку лежать, и прошёл за стол.

Говорил он неохотно и разговор с Родькой об-сказал коротко. Анфиса поглядела на ружьё и, выпрямившись, поднесла руки к груди.

— Ну, а ты-то чего? — заторопила она Антипыча.

— Чего... а я возьми, да и стрельни...

— Батюшки... убил?! Насмерть?! — выпалила Анфиса и сама, испугавшись своих слов, запечатала губы ладонью.

— Пошто убил? Нет, — ответил Антипыч.

— Покалечил? Да говори же, чего тянешь! — взмолилась Анфиса.

— Нет. Я ему поверх башки стрельнул-то.

Стёпка было тоже напрягшийся, выдохнул, покачал головой, улыбнулся:

— Здорово, однако, отсалютовал ты ему. Основательно! А он чего?

— Да чего. Он со стула грохнулся, ногами засучил, сразу встать, видать, не мог, с такой-то нежданности. Ну, вскочил, завопил чего-то и наутёк в чём был. А из сеней уж стал орать, дескать, ты у меня ещё ответишь, я тебя, мол, засужу, сегодня же тебя участковый в оборот возьмёт.

— А ты? — увлеченно спросил Стёпка.

— Анфиса, выключи ты его. Не поёт, а воет, и без него тошно, — произнёс Антипыч, кивнув на телевизор. И гневно затряс пальцем в сторону экрана. — А ведь это у Родьки ихняя грамота! Ихняя! Ненашенская!

Анфиса метнулась к телевизору. Стало тихо. Антипыч чуть помолчал и продолжил:

— Значит, собрался, Варнаку говорю, мол, пойдём.

Ну и пошли. Думаю, пойду сам да сдамся участковому. Мало ли, чего Родька ему спьяну-то наболтает. Мне оно уже всё едино. А на вас посмеиваться начнут, мол, Анфиски братан, Антипыч, под вином в Родьку Суслопарова шмалял. Или сыновья мои в отпуск с ребяташками приедут — это как же им такое слышать? Нет, пусть оно по правде будет. Пусть по правде судят. Ты, Стёпка, может знаешь — дадут-то много?

— Ну, — с видом знатока почесал голову Стёпка. — Хулиганство. Суток пятнадцать. А ты скажи, мол, так случилось: слово за слово, то сё, Родька гадостей наговорил и на меня в драку полез. Тебе он поверит — ты ветеран! А Родька кто? Участковый у нас — мужик хороший! Да и я словечко за тебя замолвлю. Мы с ним рыбачим часто. Говорю, хороший он мужик.

— Нет! — твёрдо ответил Антипыч. — Брехать не стану, а как всё по правде было — расскажу.

— Зря! — не соглашался Стёпка. — Я тебе дело говорю. А может он и вправду драться-то лез, а ты и забыл просто? Тут, в драке, дело такое — не сразу и вспомнишь, чего оно было.

— Нет, не было такого...

— Ты бы слушал, чего говорят тебе! — напустилась на брата Анфиса. — Глянь, сидит он, форсун старый! Тебе ж, как лучше, говорят! А как загремишь в кутузку — тогда чего?

— Значит, за дело, — тихо сказал Антипыч и глянул на Стёпку. — Ты знаешь, где участковый живёт? Покажешь?

— Угу.

— Ну, пошли тогда, что ль? — встал Антипыч.

— Прямо сейчас? — удивился Стёпка.

— А когда?! Сейчас идти надо! — сказал Антипыч и подошёл к Варнаку. Кобелёк радостно застучал хвостом. — Ты, мой хороший, не ходи за мной. Здесь будь. Вот у Анфисы пока поживёшь. Верно говорю, Анфиса?! Ты меня уж прости, Варнак, что так вышло. Да, да, Варначок, придётся тебе подождать меня. Так ты не грусти...

— Ой, — встрепенулась вдруг Анфиса. — А что, ежели Родька, лиходеи этот, избу тебе спалит? На них же, коли глаза позаливают, уёма никакого нет!

— Не спалит, — отозвался Антипыч, ещё раз ласково потрепал Варнака, взял ружьё и вышел в сени.

К участковому Антипыч со Стёпкой заявили в одиннадцать. Он слушал сбивчивый рассказ старика поначалу хмуро, потом и вовсе стал метать в Стёпку, стоявшего позади Антипыча, гневные взгляды. Стёпка только и мог, что бессильно разводить руками. Через пятнадцать минут участковым было объявлено: обоим пока обо всём помалкивать, Антипычу оставаться у Анфисы и считать себя под домашним арестом до дальнейшего выяснения. «Тулку» же участковый распорядился оставить у себя.

...Родька, наутро проспавшись, помчался к Антипычу и, не застав того дома, рванул в Васильево. Встретил Стёпку, навеселе возвращавшегося из гостей. Узнав всё от него, помчался к участковому и пообещал проставить тому ящик «белой», чтобы он «позабыл» о словах старика...

* * *

Антипыч ещё три года прожил в новом «тыщачелетии», прежде чем перебрался к супружнице своей Катерине в «Большие Погорельцы».

И если вдруг набредёт путник на глухое кладбище, устроенное на холме, если тронет его сердце умиротворённой тишиной, какая бывает лишь на погосте, то пойдёт он бродить по кладбищу. Может, оттого, что жив, незаметно для себя вольно, во все меха вдохнёт путник, а на выдохе шевельнётся в нём далёкое, неясное предчувствие вечного покоя и великой тайны. И станет тогда путник разглядывать старые, заросшие могилы, пытаясь по фотографиям, датам, именам понять, кто в них лежит, и какую они прожили жизнь. Тогда, на краю кладбища, посреди всеобщего травяного буйства, непременно увидит путник опрятно прибранную еловыми веточками, ладно обихоженную могилку, укрытую нежно игристой тенью двух берёз, растущих чуть позади, по обе стороны от креста. И остановившись, заслушается ласковый шёпот берёз, да и приметит путник петляющую, нахоженную тропинку, станет провожать её взглядом. Затеряется тропинка в зелени, вынырнет, пропадет снова в наступающем молодом прилесье. Тогда посреди дурнороста неохотно откроются взору редкие, согбенные потемневшие избы, и угадает: здесь была, а может, и есть ещё деревня... ■



ЕЛЕНА ЛОБАНОВА

Родилась и живет в Краснодаре. Окончила музыкальное училище им. Римского-Корсакова и филологический факультет Кубанского государственного университета. Член СРП, прозаик. Работала концертмейстером, учителем русского языка, корректором. Рассказы печатались в журналах «Русская провинция», «Родная Кубань», «Сибирские огни», «Южная звезда», «Новый берег», «Аврора», «Балтика». Автор трех романов.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО

Наталья целует котов. И своих, и тётъ-Галиных. Особенно тётъ-Галиного любимца Рыжего.

Тётъ-Галья с кошкой на коленях — моё первое впечатление от переезда сюда, на окраину. А когда видишь старушку, сидящую на солнышке у калитки с кошкой на коленях, кажется, что ты прожила здесь уже полжизни.

Правда, со временем всё оказывается не так уж благостно.

Тётъ-Галина любовь к животным не знает границ и выражается главным образом в нещадном кормлении. Себя тётъ-Галья не балует разносолами, зато её Рыжий похож на холёную беременную кошку, которой пришили лисий хвост. Самый верный способ понравиться тётъ-Гале — принести Рыжему остатки пельменей или не до конца обглоданные куриные косточки. Тогда тётъ-Галья светлеет лицом и счастливо голосит:

— Рыжа, Рыжа! Иди, вкусенького принесли тебе!

И млеет, когда сытый Рыжий всей тушей прыгает ей на плечи. Даже пригибается, чтобы ему было удобнее сидеть. И так, полусогнутая, с котом на плечах ходит по двору.

Наталья же норовит сама схватить Рыжего на руки с криком: «Та ты ж моя Рыжа!» и, раскинув его на груди наподобие пелерины, чмокнуть рыжий пух на шею или необъятный бело-рыжий живот. Рыжий терпит эти бурные ласки с королевским величием.

Рядом у забора восседает Натальин белоснежный Боня в ошейнике от блох. Он, взрослый матёрый кот, не опускается до ревности; разве что иногда, улучив момент, настигнет юнца Рыжего где-нибудь в кустах и малость подушит. Чтоб не забывался. Рыжий и это терпит молча, не жалуется, понимая: такова участь красавца и всеобщего любимца.

Боня выходит на улицу ближе к ночи, когда мы заканчиваем обсуждать уличные, медицинские и политические новости. Под эти разговоры Боня белым призраком скользнёт вдоль подпираемого

нами забора, вспрыгнет на крышу тётъ-Галиного сарая и оттуда уставится в лицо Натальи немигающим взглядом.

— Что, домой пора? — недовольно заметит Наталья. — Не хочу ещё. Иди сам.

Но Боня сделает вид, что не слышал, и будет сидеть дальше, неподвижно уставившись на хозяйку. Постепенно беседа как-то разладится. Тогда Боня — бесшумно спрыгнет на землю и, приблизившись, потрётся о Натальины брюки.

— Ну пойдём уже, ладно, — снизойдёт она и поднимет его. — Пока, красотули!

И, кивнув, удалится с довольным Боней на руках.

Красотули — мы с тётъ-Галей — разойдутся по домам.

Кстати, в тётъ-Гале и правда есть какая-то не то чтобы красота — всё-таки женщине под восемьдесят! — а неброское очарование, соразмерность голоса, улыбки и взгляда. Слушать её приятно, даже когда она проявляет простодушное любопытство:

— Леночка, я вот всё спросить хочу: муж-то тебя, наверно, и не бил никогда? А изменял?

И глаза её, даром что видят еле-еле, светятся таким чистым васильковым сиянием, что, глядя в них, невозможно отвертеться:

— Ну не бил, нет... и не замечен вроде... пока.

Но не такого ответа ждёт она. Синий огонь в глазах тускнеет:

— Не замечен, значит... А вот говорят, бывают мужики, что и на самом деле не изменяют! Или не знаю, може, брешут? — И смотрит с робкой, грустной надеждой.

Вообще грусть — тётъ-Галина стихия. Сладким и печальным голосом вспоминает она минувшее:

— Разве ж мы так жили? Мы тут все, соседи, друг с другом знали, водились, в гости ходили. Бывало, конечно, что и поскандалим, и подерёмся, и милиция приезжала, ну и что? А назавтра, бывало, всё забудем. Идёшь по улице — кричат: «Мироновна, куды наладилась? Я борща сварила!» А с другой сто-

роны: «Галька, ходи домене, я оладушек напекла!» А я на работу бегу, всегда ж на двух, на трёх работах. Крикну: «Тётя Нина, баба Шура! Лидку мою там покормите!» А они: «Иди, иди, не останется Лидка голодной!» И уж борща, знаю, всегда нальют.

Заработала тёть-Гая на своих работах прилично — выстроила два дома, добротные, кирпичные, задний даже двухэтажный. И в каждом телевизор, хорошая мебель, ковры. А между ними ещё отдельная кухня, приют лохматого Мазая и всей кошачьей компании. Одна беда: не хотят здесь жить ни дочка, ни внучка. Непрестижный, мол, район, и канализации нет. Только свозят сюда ненужную мебель, телевизоры и одежду. И грустно вздыхает посреди всего этого изобилия тёть-Гая, как постаревшая царевна.

— Ковры бы почистить, да занавески постирать, а силы уже не те... Лидка поможет, конечно, но сказала — давай до лета подождём.

А пока тёть-Гая грустит.

Наталье же грустить некогда. Она похожа на маленькое тугое веретено, вокруг которого вихрем закручивается жизнь. Мелькают муж, сыновья, дальние родственники, подруги, бывшие сотрудницы, коты, собаки, и мы с тёть-Галей тоже в этом пёстром хороводе. Тёть-Гая, конечно, первая — они знакомы с Натальиной юности. Не знаю, как повелось, что Наталья тёть-Галю опекает. Наверное, потому что она моложе. Хотя её дочка Лида и живёт в городе, но работает, так что часто приходиться не может. Да и в выходные дел полно. А Наталья — вот она, под боком. И на пенсии уже, сама себе хозяйка.

Мне тёть-Галины окна отлично видны. И слышно, если рано утром стукнула её калитка. Это Наталья прибежала, притащила что-нибудь к завтраку. Как бывший столовский работник, она в совершенстве владеет искусством варки «каши из топора». Из Натальино топора выходят то пухленькие пирожки, то салатные шарики, то ещё какие-нибудь волшебные штучки, которыми она без устали кормит своих троих мужичков, а попутно тёть-Галю, да с недавних пор и меня. Не успеешь доест её душистое сало с чесноком, как, смотришь, в холодильнике образовался новый гостинчик — квашеная капуста

трёх сортов: простая, с хреном и розовая со свёклой.

А на подоконнике уже красуется того же происхождения герань, принесённая готовенькой, в горшке, и пророщенная до ярко-алых соцветий. И когда помотришь на эту герань, как-то веселеет на душе. Может, потому, что она излучает какие-то полезные фитонциды, я читала.

И не одну меня она одаряет цветами: то выносит цветочный горшок молоденькой маме с коляской, то скликает соседок: «Оля! Алла! Идите лилии возьмите! А то разрослись у меня, я выкапываю. Красивые, белые! И приживаются хорошо». И правда, всё, к чему прикоснулась её коротенькие загорелые пальцы, приживается хорошо. Даже когда она решает «облагородить» теперь уже мою герань и недрогнувшей рукой срезает все четыре ветки с листьями, оставив в горшке только остов бедной герани, невозмутимо распоряжаясь:

— Пускай не палкой растёт, а шапочкой! А эти в стакан с водой поставь, они корни пустят.

И остов начинает послушно разрастаться во все стороны нежным зелёным облаком, и аленькие цветочки, по всему видно, тоже не за горами. И тёть-Гая, разглядывая этот облагороженный вариант, обидчиво замечает:

— А мне ты такой не давала!

В ответ на что Наталья, разумеется, тут же обещает принести ей и красный цветок, и розовый, и мне розовый тоже.

Кажется, что в неё встроена невидимая антенна, улавливающая чужие желания — даже такие, о которых ты и сама ещё не догадалась, но, оказывается, давно созревших.

Тем временем у тёть-Гали новая печаль.

— Вызывала скорую, давление за двести, так она приехала через четыре часа и меня только отругала: чего это я с нормальным давлением не отменила вызов? А я две таблетки выпила, конечно. Что ж мне — умирать, пока она приедет? Так нет, видишь, раз таблеток напилась — нечего ехать. И не подошла ко мне даже! В дверях поругалась и назад.

Наталья фыркает:

— Нужна ты ей, в таком возрасте! Они сейчас молодых-то лечить не хотят, а тут бабка!

— Дак а старикам как же? — распахивает голубые глаза тётъ-Гая.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — объявляет Наталья. — Позвонила бы мне, я б тебе лекарство хорошее принесла.

Это правда: у неё всегда наготове хорошее лекарство, и лишние полбулки хлеба, и новенькая чашка взамен разбитой тётъ-Галиной. А если у тебя, к примеру, протёк кран — обнаружится живущий неподалёку родственник-сантехник. Или просто выдастся хмурое сырое утро, да ещё одолеют неприятности — тут тебе телефон звяк-звяк, получите картинки от Натальи: на одной весёлый парень отжигает на виолончели, притоптывая босыми ногами, на другой фигуристка в пачке и белых ботиночках призывает: «Мечтай! Улыбайся! Наслаждайся каждым мгновением жизни!», а дальше хохол с длинным чубом гоняется за кабанчиком под песню про горилку — в общем, всё, что нужно человеку для поднятия тонуса. А откуда она это берёт — уму, как говорится, нерастяжимо.

Похоже, у Натальи имеется свой план по спасению мира.

Познакомились мы не так давно. То есть я знала, конечно, что живёт тут такая, небольшая, плотненькая и шустрая, бегаёт по улице туда-сюда, кивает издали, надо бы познакомиться при случае поближе, но случая всё не было.

И вдруг настали другие времена.

До такой степени другие, что во временах этих можно было потеряться, как в лесу. И кричи — не докричишься, потому что вдруг забылся человеческий язык, на котором без труда понимали меня родные и близкие. И пришли страсти-мордасти, и тишина в четырёх стенах, и страхи о себе, и о близких, и о будущем, и страх страха, что подступает из всех углов, и выскочить бы, вылететь стрелой из комнаты, только ночь на дворе, и все близкие спят, одна ты, извращенка, сидишь в комнате, а внутри всё дрожит, и куда ни взгляни, тошнит от отвращения, милые привычные вещи окаменели и отвернулись, и кажется — не доживёшь до рассвета среди этого мёртвого, страшного царства.

Но примерно через тысячу лет он всё-таки на-

стаёт, о, наконец-то серая полоска неба за окном! Значит, всё-таки начинается новый день, а днём всегда легче, днём даже если сидишь одна, в окно доносится пение птиц, и шелест листьев, и человеческие голоса.

Правда, до голосов ещё опять-таки вечность, но на крайний случай можно сбежать в круглосуточный магазин на остановке, не сбежать, конечно, а доковылять на бессильных ногах, но главное — добраться, и там, может, как-то удастся поговорить с сонной продавщицей, можно о погоде или какая жирность ряженки, а человеческий голос — единственное спасение.

И собираешься, и думаешь, писать ли записку мужу, ведь все слова так опасны, многозначны, но всё-таки набираешься решимости и карябаешь: «Пошла за молоком», ничего лишнего, чтобы ужасный страх не заразил и его, и вот уже застёгнут приличный халат, и обуты устойчивые мокасины, и телефон в кармане, и для вида пакет в руке, и маска в пакете, а пока собиралась, небо совсем посветлело, и страх темноты отступил, а когда идёшь, переставляешь ноги шаг за шагом, тогда и остальные страхи хоть и плетутся следом, но всё же не могут поравняться.

И вдруг — о радость! — голоса прямо за калиткой, и в двух шагах стоит машина, и знакомая толстушка в очках вместе с мужем собираются куда-то ехать. А пока собираются, можно ведь сказать и услышать столько ничего не значащих, обыкновенных, драгоценных слов! Можно услышать свой собственный голос и голоса в ответ, какая уж разница, о чём речь, когда каждый звук — на вес золота.

— Доброе утро, смотрю, вы тоже ранние пташки, и мы такие же, да... На рыбалку? (Это увидев удочку). Ну, счастливой дороги вам! И хорошего улова!

И приветливый взгляд, и кивок в ответ — да это же целое пиршество, хватит на весь путь до магазина с сонной продавщицей. А дальше уж как-нибудь, хоть мужу, конечно, на работу, тут ничего не сделаешь, и соседка справа красит забор такой краской, что невозможно хоть чуть-чуть приоткрыть окно, это в июльскую-то жару. Но ничего, как-нибудь перетерпеть, а завтра обещали дождик, это совсем

другое дело, никаких покрасочных работ, и можно открыть окно, повеет прохладой, и дочка придёт, сказала — завтра сможет прийти, главное только её не очень испугать, взять себя в руки, да, в ежовые рукавицы, выпить пустырник, новопассит, и ещё сделать гимнастику, это облегчает — проверено. Жаль, нельзя читать, что-то с глазами, но, с другой стороны, и неинтересно стало, в книжках сплошь и рядом ложь, может, и есть другие, но не найти.

Можно ещё протереть пыль или позвонить подруге, только заранее написать на бумажке, о чём говорить, а то опять эти длинные паузы, прямо чувствуется, как ей тяжело и неловко, никто ведь не знает, что можно утратить привычный язык, на котором так легко было делиться мыслями, даже самыми сокровенными.

А если совсем невыносимо, лечь перед иконой лицом в ковёр и лежать, пока не станет легче.

А там и ужин готовить, и муж скоро с работы вернётся, можно выйти встречать. Поговорить с соседским шестилетним Пашей, как дела и настроение, он на такие вопросы откликается.

И вдруг деловитое урчание мотора, останавливается машина, и те самые люди, так приветливо говорившие утром, выходят усталые, довольные, кивают, улыбаются, и женщина в очках скрывается за калиткой — как быстро! — и нечего больше тут торчать, мозолить глаза, но вдруг низенькая калитка опять открывается, и она снова показывается с каким-то кулём, подходит, и в руках у тебя оказывается приятная тяжесть, а в ушах звучит тёплый хрипловатый голос:

— Угощайтесь, тут сомик, а это караси. Пока свежее! На здоровье!

И начинается уже чуть другое время, полегче. Потому что теперь находятся минуты для благодарностей и вежливых вопросов, постепенно переходящих в расспросы и ответные рассказы. А там уже и регулярные беседы в тенёчке под вишней за подпирающим забором — это у них с тётью-Галей давно было заведено, а я присоединилась. Никто как бы не обращал внимания, что я в маске на расстоянии двух метров — слух у всех, по счастью, был нормальный. А однажды в самую жару, когда душно даже в тени

и ноги устали (впрочем, я иногда вытаскивала свою табуретку с прицелом на основательную беседу), мы оказались у меня, за кофейным столиком. Повод — Наталья всучила нам по бутылочке невиданно вкусных сливок производства каких-то своих знакомых; с тех пор мы ввели в обычай пить кофе, продолжая пространные беседы. О чём? — быть может, спросите вы. О, в темах мы себя не ограничиваем!

О климате и о правительстве; о физзарядке и болячках; о котах, само собой; о соседях и соседках; о работе и зарплате; о кулинарных рецептах и оздоровительных травах; снова о котах; о любви и дружбе; о детях, мужьях и родственниках; о нарядах и модах, обычаях и нравах; о котах и немного о собаках; о художественной литературе и системе образования; о пенсиях и подработках; о ремонте; о котятках; о диковинных растениях и дальних странах; о ценах и умении торговаться; о стиральных машинах и химчистках; о телепередачах и вип-персонах; и ещё о паре сотен предметов и явлений. Между делом мерили давление, пульс и сатурацию, благо приборы у меня под рукой; по заказу Натальи я играла полонез Огинского, а тётя-Галья танцевала «цыганочку» с выходом; мы с Натальей обсуждали достоинства «Маленького Парижа» Лихоносова; а тётя-Галья приносила альбом семейных фотографий; и однажды вечером, гоняясь за кем-то из котов, Наталья углядела в небе и позвала нас посмотреть не иначе как НЛЮ — ярко-оранжевый огонь, причудливо двигавшийся и буквально за несколько секунд пересёкший небесный горизонт!

Что же касается историй знакомств и замужеств, то их знали давно и в подробностях («Три старушки меж дубов говорили про любовь», — проходя мимо нашей троицы, комментировал Натальин Гена).

Позже, разумеется, сиживали и в тётю-Галиных хоромах, несколько обветшалых, но добротных; и в Натальиной уютной низенькой гостиной, оклеенной роскошными рекламами в красно-розовых тонах; и опять в моей просторной, но, увы, темноватой комнате («Ничего! Ложку мимо рта не пронесём!» — успокаивали меня подруги).

Угощались разнообразно. Я, как поборник здорового питания, подавала к кофе фрукты, доступные по сезону и доходам; Наталья, ветеран столов-

ского труда, баловала запеканками и пирогами; тётъ-Галя угощала сырниками и жареными пирожками с картошкой и лучком. Ну а под Новый год, конечно, явились торты и сухое вино.

Увы, праздник был омрачён тётъ-Галиным горем — смертью Рыжего. Как, почему закатилось наше рыжее пушистое солнышко — было неизвестно. «Отравили!» — причитала хозяйка бессильно, и горе катилось слезами из голубых глаз. Приехала дочка, и вместе они оплакивали любимца, а потом повезли в безлюдное место хоронить. После этого тётъ-Галя «гулять» с нами долго отказывалась. Наконец, кое-как удалось заманить её на кофе. Но сидела она молча, неподвижно уставившись в пространство перед собой. Перед ней маячила дилемма: у кого из соседей поднялась рука? Мы же с Натальей, рассуждая по принципу «не пойман — не вор» и отвлекая её от ненависти, обсуждали гипотезу о попавшемся несчастному коту крысином яде — крысы навещали здешние места регулярно. И постепенно мысль достигла цели: глаза тётъ-Гали оживились, заморгали, лицо слабо порозовело, и дрожащей рукой она, наконец, отщипнула кусочек торта. А потом даже поучаствовала в разговоре о литературных сюжетах: посоветовала мне описать Натальину жизнь со всеми тремя замужествами. Я, правда, сомневалась в своей способности к масштабному эпосу. Но кое-какие её рассказы невольно запомнились, особенно про встречу со вторым мужем — может, потому, что случилось всё как раз под Новый год.

— Тут Новый год на носу, а настроение хуже некуда — с мужем разошлась, с зарплатой перебои, а у меня двое пацанов. И тут Маринка, кума, узнаёт: Петро с нашей станицы овдовел, жена вроде повесилась у него... Мы-то с Маринкой в детстве в станице жили, в городе я только с восьмого класса, а она с десятого. Так Петро этот раньше симпатичный был, учился в военном училище, в форме ходил, девчонки заглядывались. Потом, говорили, закладывать стал, а когда женился, вроде всё нормально пошло, двоих деток родили. И вдруг такой ужас! А Маринка пристала: давай съездим, посмотришь на него. И Борька её туда же: за погляд, мол, денег не берут, вдруг что и выйдет у вас? Ну и уговорили меня.

Наталья рассказывает обычным, всегдашним своим голосом, как о ценах или погоде, и кажется — всё происходит где-то здесь, прямо сейчас. И разыгрывается воображение: конец девяностых, праздники без денег и зверский аппетит при взгляде на чужой стол. Но всё это — на фоне молодости и нерастроченных ещё сил, а потому озарённое надеждой.

— ...Приехали. Смотрю на него — «синяк» и есть «синяк». Худой, неприбранный. Хотя вроде и рад, усадил нас, на стол вытащил самогонку, сало, помидоры солёные. И дети пришли. Смотрю — маленькие, тощенькие, на свой возраст не выглядят, а мальчику двенадцать уже, девочке вообще четырнадцать. Ну, посидели, разговор не особо клеится, и уехали. Ничего я не пойму, не решила ничего. Детей только очень жалко.

И вот уже Новый год. Тридцать первого Маринка с Борькой приходят пораньше. Готовимся, мы с Маринкой курицу жарим, салаты строгаем. Ближе к вечеру сели, как положено, проводить старый год. Сидим, провожаем, вроде всё нормально. И вдруг Борька говорит: «Не могу я на тебя смотреть, Наташка! Ну-ка, собирайтесь! Поехали». «Куда?» «К Петьке! У тебя денег на такси хватит?» А мне как раз зарплату выдали. «Ну, хватит», — говорю. И вызвали такси. В сумку накидали сыра, колбасы, бутылку шампанского. Детвору мою предупредили, что к Новому году вернёмся. И в станицу! Приезжаем, и сходу облом: Петьки дома нет. Но соседи сказали — он у матери, это через две улицы. Нашли, точно. Нас явно не ожидал. А Борька ему без разговоров: «Садись в машину!» «Зачем?» «Садись, говорю!» Удивился, но сел. Крикнул только, чтоб у матери его не ждали. А когда разглядел меня в такси, стало до него доходить: «Так это ты? Твоя идея?» «Моя! — говорю. — Считаю, что я тебя украла!» Хорошо, денег хватило таксисту заплатить...

Тёмные Натальины глаза дерзко блестят. А тогда? Воображаю: зима, новогодняя ночь, молодость и эти глаза...

— Короче, встретили вместе Новый год. Ничего, вроде нормально. Он даже особо не пил. Утром уехал. А я отдохнула малость — и за уборку-стирку. К вечеру выхожу во двор с тазом, начинаю разве-

шивать, и вдруг сзади женский голос: «Наташа!» Оглядываюсь — никого. А так явственно слышала! Рассказала Маринке, она сразу: «Это точно Лариса, жена Петра приходила. Может, за детей беспокоилась? Просила тебя взять их?» А у меня эти дети и так из ума не идут. А Борька: «Да глюки это! Ты сколько выпила?» «Но что ж я с Петькой делать буду? — спрашиваю. — Ведь алкаш!» «Ну и что, алкаш! Отмоем, приоденем. А будете вместе жить — может, он и пить бросит». И как-то я дала себя уговорить. Так что через месяц он с детьми ко мне уже переехал. А на второй день мы на могилку поехали. Памятника ещё нет, крест и фото: молодая женщина, красивая, волосы светлые по плечам. Прибрались, потом я попросила всех отойти. И говорю: «Лариса, ты не переживай, я твоих детей не обижу, как родные будут мне». И не знаю, услышала ли она, но я сама как-то успокоилась.

Некоторое время сидим в молчании. Я усваиваю информацию.

— А они и вправду тебе как родные стали?

— Ну да. Как к своим относилась, так же и к ним. Маша, конечно, с характером была уже тогда, при том возраст переходный, но ничего, притёрлись.

— А твои мальчики не ревновали? Дружили с ними?

— Так они ж почти одинаковые! Большенький мой на год Маши постарше, а мелкий — годом младше Славика.

Ей кажется, что этим вопрос исчерпан.

— Ну а с Петром как жили?

— Ну, поначалу хорошо... какое-то время. Он старался, работал, по дому помогал. Зарегистрировались, всё как положено. А потом — раз запил, другой, и покатилося... Белочка являться стала. Ну и вообще изменился совсем, деградировал. Грубить начал, а там и рукам волю давать. Орёт на меня: «Знаю я, почему от тебя муж ушёл!» А я, говорю, знаю, почему твоя жена повесилась.

— А почему...

— Ну пил же! С пьяницей-то каково жить, если он ещё и драться начал — я на своей шкуре поняла. Но последней каплей было, когда он Машку по пьяни избил. Девочку, представляешь?! А я с работы

пришла, вижу — она от него прячется. И тут прямо всё вскипело у меня! Говорю ему: «Ночью уснёшь, я тебя топором зарублю». Так он ночевать не пришёл, всю ночь по двору шаркался!

Улыбается, блестя чуть неровными зубами. Теперь, наверно, ей это кажется забавным.

— Ну и разбежались, конечно. Он шмотки свои собирает, а дети возле меня стоят. Машка спрашивает: «Тётя Наташа, вы папу выгнали, а нам тоже уходить?» «Куда ж вы пойдёте, говорю, я ж не с вами развожусь». И остались они со мной. Трудновато, конечно, было, алименты он платил копейки, и соседи всё твердили: «Дура ты, Наташка!» Но ничего, выжили. Машка подросла — красавица стала, в колледже за ней пацаны всю ухаживать начали. Однажды приходит — поговорить надо по секрету. «Тётя Наташа, мы с Сашей хотим пожить вместе...» И что ей сказать? Ну, живите, говорю, может, сложится у вас. Правда, долго не прожили, разругались. У Саши тоже характер обнаружился. Но она другого мальчика нашла, это уже попозже, и выдала я её замуж. Ничего, живут, деток уже двое! И Славика женила, тоже свадьбу отгуляли, как положено. Девочка у них, полтора годика. А мои пацаны, главное, до сих пор неженатые! Соседи смеются: «Наташка своих парней не пристроит никак, а на чужих у неё рука лёгкая!»

— И правда... с чужими практически идеально всё получилось.

— Какой там идеально! — встревает возмущённо тётё-Галя. — Не признают они её теперь, понятно? Чужая кровь — она и есть чужая! Как ни старайся.

— Как — не признают?! Почему? — воображение моё тупо замирает.

— Не общаются, да, — подтверждает Наталья с вызовом, вздёргивая подбородок с ямочкой. — Машка обиделась, что когда Петро умер, я хоронить не стала. Она тогда мне позвонила сразу, думала — я всем займусь, а меня даже в городе не было. Говорю: соблезную, но приехать не могу, я у сестры в гостях, три года не виделись. Да и с Петром мы тогда уже лет десять как разошлись, и Генку я уже встретила. А Машка не простила. И вот уже второй год не звонит.

В голове у меня начинается какой-то смутный шум. Только что сложилась такая правильная, бла-

гостная картинка: приёмная дочка у мамы двух — теперь трёх! — сыновей, заботы, платица-кофточка, заветные рецепты пирогов, секретные разговоры о своём — о девичьем в мужском окружении; наконец, святая святых — подготовка к свадьбе, и сама свадьба... И вдруг всё вдребезги, ах, ты вот так, а не по-моему, не так, как я хотела, так знать же я тебя теперь не хочу! И не позвоню, и детей не приведу... значит, так бывает?! «Фейсом об тэйбл», как говорили в девяностых.

И после этого, получается, надо жить!?

— А... а мальчик?

— Славик? Славка нет, звонит иногда, если деньги нужны.

— Знает, что не откажешь! — вставляет тётъ-Гая.

— Ну да, типа того...

Новые штрихи не лезут в картину, высыпаются со всех сторон. Уже проводив подружек, я упорно пытаюсь как-то склеить, слепить это всё — безуспешно. Дожидаюсь мужа с работы, рассказываю.

— Ну а что? Бывает, — мимоходом роняет он. — И дети разные бывают, и в одной даже семье.

Чувствую, на дальнейшее обсуждение он не настроен. Надо сдержаться и не злоупотреблять терпением человека.

А из окна опять доносится знакомый дуэт. Тётъ-Гая ведёт свою партию мягко, нежно, Наталья же вторгается решительно и даже резко.

Как хорошо, что Наталья жива и здравствует! Она опять в заботах, вот в чём дело! Потому что кто-то в ней постоянно нуждается — взять хоть нас с тётъ-Галей. А не заботиться она не умеет — такая уж натура. Забыв невзгоды и обиды... Выходит, и в заботах можно найти счастье?

Подхожу. Они кивают мне — привет, подруга! — и заканчивают очередной спор.

— Ну ты-то с тех пор поумнела, да? — сладким голосом осведомляется тётъ-Гая.

— Естественно! — фыркает Наталья и отворачивается. — Ой, не пойму — там Серёга, что ли, пьяный лежит? До дому не дошёл?

— Точно, — подтверждает тётъ-Гая. — А чего его Анна не пустит? Всё-таки брат. Хоть и пьянствует... У них же участок пополам, и дома отдельные.

— Довести его, что ли, — вслух рассуждает Наталья. — Не лето же, на земле валяться!

— У тебя ж плечо болело!

— Да то вчера! Сегодня вроде бы ничего.

И решительно отправляется спасать соседа. Я, делать нечего, плетусь следом — неудобно как-то оставлять её одну.

Серёга, мужичонка вроде бы тощий, оказывается неимоверно тяжёлым. Да ещё и никак не поймёт, чего от него хотят.

— Вставай! — твердит Наталья, пытаюсь приподнять его. — Холодно же, простудишься!

Наконец он разлепляет глаза, с трудом садится.

— Наташ, ты? Ага... ты мне только на ступеньках помоги... Ступеньки у нас... там...

— Да знаю, знаю... ты, главное, иди, ногами шевели! Лена, ты его просто придерживай... И калитку открой.

За калиткой, действительно, ступеньки вниз — без перил. Кое-как все вместе преодолеваем их. В окне справа зажигается свет, но никто не выходит.

— Тут сам уже сможешь?

Сергей взмахивает рукой, что, видимо, означает согласие.

— Ф-фух! Ну, пошли, — Наталья потирает плечо. — Всё-таки не прошло ещё.

Поднимаемся по ступенькам обратно к калитке.

— Я его как-то уже отводила. Ещё Анна ругалась — все цветы ей помял! У нас тоже дом в низине, ступеньки пришлось делать. Дороги насыпали-насыпали, а дворы по сторонам так и остались.

— А у нас, наоборот, за окнами сразу тротуар, никакого забора. Тоже так себе...

— А мне все твои окна видны, даже дальше боковое. Это ты там вечерами сидишь, пишешь, читаешь?

— Ну да, — признаюсь.

— Я так и думала.

И мы улыбаемся, прежде чем вернуться к тётъ-Гале, как будто обещаем друг другу хранить тайну.

Надо же. По вечерам кто-то на этой улице думает обо мне.

А что ещё, в сущности, нужно человеку? ■



ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ

Родился 27 июня 1938 года в Таганроге. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького и Высшие курсы сценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР. Автор многочисленных прозаических произведений, переведённых на английский, французский, немецкий, испанский, китайский и др. языки. Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства 2002 года. Живёт в Москве.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР ВОЙСКА ДОНСКОГО

(из воспоминаний студента)

*Светлой памяти тети Нины, тети Вали
и моей двоюродной сестры Жанны.*

Это были старые советские три рубля — такие зелененькие, похожие на доллар, хотя официально они стоили в те времена не один, а пять американских долларов, которые, кстати сказать, ни я, ни мои знакомые еще и в глаза не видели.

Я ездил домой, в Дагестан, по командировке спецкора одной из центральных газет — в нашем Литературном институте очень поощрялись подобные поездки, считалось, что так мы «изучаем жизнь», и это было похоже на правду. На обратном пути из Махачкалы в Москву я заехал на два дня погостить к моим тетушкам в поселок под Новочеркасском, в тот самый поселок электровозостроителей, что меньше чем за год до этого тайно прославился на весь Советский Союз и явно — на весь остальной мир.

Утром следующего дня по приезду я решил отправиться в город: мне хотелось посмотреть там кое-что такое, о чем я не распространялся...

Когда я уезжал из поселка, настроение у тетушек было отличное: перед утром этого воскресного дня тетя Валя «достала» костей на суп — выстояла в очереди с трех утра до восьми и вернулась с победой. Поэтому я и проснулся от смеха тетушек на крохотной кухне и от запаха мясного бульона — тетя Нина вываривала кости, чтобы потом сварить на этом как бы мясном бульоне борщ. Тетушки громко хвалили кости — они были и свежие, и молодые, и даже с полосками мяса и жира по краям — славные были кости! Праздничные!

— Вернешься с города — будет борщ! — свет-

ло улыбаясь, сказала мне на дорожку тетя Валя и даже подмигнула лукаво своими еще васильковыми, еще не выплывшими на старости лет глазами, сначала левым, а потом правым — такая у нее была манера подмигивать. — Курточку накинь, москвич, — сунула она в просвет еще не успевшей захлопнуться за мной двери легкую курточку, которую я захватил с собой из дома в Махачкале, памятуя о том, что еду на север — в Москву.

На дворе стояла ранняя весна 1963 года. Весна по меркам юга России: февраль на исходе — теплый, солнечный, с набухающими почками на кустах и деревьях. Через четыре месяца мне должно было исполниться 25 лет. После школы, которую я случайно окончил, я уже поработал бетонщиком на заводе «Стройдеталь», отслужил в армии и теперь учился в знаменитом московском институте. Как я сейчас понимаю, разрыв между мной и тетей Валей был всего лишь четверть века, а между мной и тетей Ниной и того меньше. Но я сейчас так понимаю, а тогда тетушки казались мне старенькими, да и самого себя я не воспринимал слишком молодым: на горизонте уже маячило тридцатилетие — вершина, после которой все «едут с ярмарки» и под горку. Так я понимал тогда жизнь и возраст, именно так, а не иначе.

Выйдя из каменного двухэтажного дома моих тетушек, построенного после войны пленными немцами, я пошел к административному зданию электровозостроительного завода, от которого ходил трамвай в Новочеркасск. На мое счастье трамвай уже пришел из города, и вместе со мной в него вошло еще несколько человек. Все молча расселись, кто где. Я сел на длинную скамейку у

залитого солнцем окошка. Коренастая невысокого роста кондукторша средних лет, то есть по моим тогдашним понятиям лет тридцати пяти, начала ходить от одного пассажира к другому и отрывать билеты, привязанные у нее небольшим мотком к черному ремню голубой сумки из кожаного заменителя; из этой же сумки торчал и свернутый пополам журнал «Огонек» с кроссвордом. Наконец, она подошла ко мне, я протянул ей маленькие зелененькие три рубля.

— Большая денюга, не разойдемся, — сказала кондукторша, — ты до города?

— До города.

— Может, и наберу пятаков, а пока зайцем поезжай, — весело сказала кондукторша, и ее широкое плоское лицо прямо-таки осветила улыбка.

— Кроссворды разгадываете? — спросил я и указал глазами на торчащий из сумки журнал с почти разгаданным кроссвордом.

— Ага, хочу поумнеть, — засмеялась кондукторша, — говорят, никогда не поздно. — И ее маленькие серые глаза блеснули так лукаво, так молодо, что я понял, что передо мной и умная и добрая женщина. — Слышь, заяц, первая буква «к» — последняя «а» — слово из семи букв?

— Колонна.

— Не получается: «колона» из шести, а надо семь букв.

— А «колонна» пишется с двумя «н».

— Ишь ты, грамотей, спасибочки, считай — проезд оправдал, — засмеялась кондукторша, вписала карандашом в клеточки буквы и отошла от меня к передней двери.

Я закрыл глаза, мне было приятно сидеть с прикрытыми веками, сквозь которые я сладостно ощущал розовое тепло солнечных лучей. Трамвай погромыхивал на стыках и под монотонный лязг колес я думал как-то обо всем сразу: о хмурой Москве, где еще стояла зима, о повести Хемингуэя «Старик и море», которую я недавно прочел и, конечно, о моих тетушках.

Сквозь неплотно прикрытые веки нежно пригревало солнце, и я почти отчетливо различал в покачивающейся вместе с трамваем розо-

вой дымке кубинского старика Сантьяго, что вторые сутки без сна и отдыха из последних сил боролся в открытом море с пятиметровой рыбой марлин, которую ему нужно было добуксировать на парусной лодке до далекого берега, до дома — добуксировать заглотнувшую наживку большую рыбу во чтобы то ни стало и, наконец, прервать цепь своих неудач в этой жизни.

Подумал я мельком и о том, что сам седобородый Хемингуэй, чья большая черно-белая фотография из журнала «Огонек» (фотография в грубом свитере под горло) висела тогда по всей нашей читающей стране, по тысячам квартир и общежитий, что сам он в позапрошлом году застрелился и больше ничего не напишет.

Кондукторша трамвая неразборчиво объявила название следующей остановки, и мои отрывочные размышления как-то само собой перескочили от кубинского рыбака к моим тетушкам. За всю жизнь у них даже и случая не было поймать свою большую рыбу, свою удачу, а тем более довести ее до берега. Правда, у тети Вали, похоже, был один случай, но она им не воспользовалась. А в остальном мои тетушки ничего не ловили, а всю жизнь ловили их самих. В отрочестве их поймали на том, что при поступлении в ФЗУ (фабрично-заводское училище) они скрыли, что были из «расказаченных», были «лишенками» — то есть лишены прав гражданского состояния, в том числе и права на образование. В войну их поймали во время облавы немецкие солдаты, полагали с хохотом как хотели и отправили на рабские работы в Германию. После войны власти всегда были с ними настороже как с лицами, побывавшими за кордоном, всегда были готовы их подловить. А прошлым летом Бог миловал — не поймали. Не поймали, потому что именно накануне того июньского дня, все от того же электровозостроительного завода их отправили на месяц в командировку на Урал, к смежникам.

Мои тетушки и их младшая сестра, моя мама, были из семейств «расказаченных» — так что, будь они дома, поймали бы их в прошлый июнь наверняка. Это в центральной России крестьян

раскулачивали, а на Дону, на Кубани, на Тереке, на Урале, на Уссури, на Сунгури, в других местах казаков «расказачивали».

Кондукторша выкрикнула название новой остановки, и я опять переключился на повесть «Старик и море». До центра города оставалось еще несколько километров. Колеса стучали, пассажиры молчали, солнце светило в окошко, у которого я сидел, нежило меня своим теплом, прогрело мое лицо и особенно прикрытые веки. Именно от того, что солнце просвечивало сквозь веки, я и видел всё в розовой дымке: старика Сантьяго, отбивающегося от небольших кровожадных акул; акул, беспощадно обгладывающих его добычу, его удачу, его пятиметровую рыбу марлин, акул, оставивших от последней надежды Сантьяго только обглоданный скелет, прикрученный к борту лодки.

— Конечная! — выкрикнула кондукторша, и я открыл глаза. Трамвай плавно остановился.

Я подошел к кондукторше и опять протянул ей зелененькие три рубля.

— Не набрала — твое счастье, — засмеялась кондукторша.

Я смущенно замешкался в дверях.

— Проходи, проходи, всё нормально, — подбодрила меня кондукторша, — в другой раз считается.

На улице было свежо, и я порадовался, что тетя Валя дала мне мою курточку.

Если не считать обшарпанной громады Вознесенского собора Войска Донского невдалеке, смотреть здесь, в центре, было особенно нечего: административные здания с выцветшим плакатом «Народ и партия едины» на фронтоне, скверик с еще голыми черными деревьями. На эти-то деревья я как раз и приехал посмотреть: мне почему-то казалось, что я обязательно найду в них застрявшие пули. Да, пули, ведь первый предупредительный залп по колонне заводчан был сделан поверх голов и значит пришелся как раз по деревьям этого скверика. Тогда, 1 июня 1961 года, деревья уже оделись зеленью — за ней-то, наверное, и не разглядели бойцы сидевших

на ветках любопытных мальчишек. Их увидели только тогда, когда они начали падать с деревьев, — так гласила молва.

В стволах деревьев я не нашел пуль, хотя и воображал их себе очень отчетливо.

Мой трамвай отправился обратно в поселок, а новый еще не подъехал. Я еще немножко постоял в скверике, потоптался, оглядывая место, где все случилось, где подошедшая от поселка колонна заводчан после первого залпа мгновенно взорвалась от ярости и превратилась в обезумевшую толпу.

Это сейчас всезнайка Интернет сообщит вам и о количестве убитых в тот день, и о числе раненых, и о расстрелянных по суду «зачинщиках» бунта. Правда, о пропавших без вести и Интернет помалкивает, а, говорят, они были. Что было, а чего не было — кто теперь расскажет? Никто.

Как сообщит вам все тот же Интернет, поводом для марша колонны заводчан из поселка в центр города, к власть предержащим стало то, что накануне очень сильно — на двадцать пять процентов взлетели цены на мясо, масло, молоко и одновременно с этим также на четверть упали на заводе зарплаты рабочих и служащих.

Чего хотели люди? Да как всегда — самой малой малости. Тут поневоле вспомнишь знаменитого цитатами из его сочинений вице-губернатора Твери с его письмом жителей города Глупова к местному начальству.

А что касается власть предержащих, то у них как всегда и для повышения цен на продукты, и для снижения зарплат были свои резоны. Людей не учили, но ведь не нарочно — просто от века не было такой привычки: с людьми считаться. И расстрел безоружных учинили не со зла, а с перепугу.

Я еще потоптался некоторое время в чистеньком скверике, а потом пошел к стоявшему невдалеке храму без крестов.

Величественный собор Войска Донского возвышался над местностью довольно мрачной обшарпанной громадой, и я почему-то сразу вообразил, как в свое время сдирали с его куполов

золоченые листы меди. Сдирали очень осторожно и не кидали их вниз как попало, а бережно спускали на длинных веревках — как я сейчас знаю высота главного купола собора почти 75 метров.

Почему золоченые медные листы спускали на землю так аккуратно? А потому что тогда в России вовсю работали торгсины (магазины торговли с иностранцами), через которые легально утекало за кордон всё драгоценное. Значит, нашелся и на эти золоченые листы с куполов знаменитого казачьего храма свой покупатель, и командовавший снизу шепелявый комиссар в кожаной куртке имел насчет этих демонтированных листов четкие инструкции: кому, куда и за сколько.

Вознесенский собор не один год простоял с тех пор раскрытый навстречу дождю и снегу. Потом его кое-как накрыли дешевым железом, а в 1942 году в нем даже начались службы. В подвалах храма были склады, а наверху шли службы.

Я обошел собор вокруг — масштабы строения поражали. Это сейчас я знаю, что Вознесенский собор в Новочеркасске — третий по величине в России, в нем могут молиться одновременно пять тысяч человек; тогда я этого не знал, как, впрочем, и многого другого.

Площадь перед собором была вымощена серой брусчаткой, вымощена очень красиво, на века. Рассматривая голубовато-серую брусчатку, я не заметил, как вплотную ко мне подошла старушка.

— Сыночек, — тронув меня за рукав куртки, тихо, но очень отчетливо сказала старушка, — сыночек, прости меня Христа ради!

Я понял, что она просит милостыню и полез в карман за своей трешкой.

«Ничего, что последняя — пройдушь пешком до поселка, не облезу», — решил я, нащупав в кармане трешку.

— Сыночек, прости Христа ради! — повторила старушка, широко перекрестившись, и поклонилась мне в пояс.

Старушка в белом платочке была такая чи-

стенная, такая худенькая и ее почти прозрачные, едва голубые глаза смотрели на меня с таким сочувствием, что в последнюю долю секунды я инстинктивно затолкал свою трешку назад в карман и неумело то ли поклонился, то ли кивнул старушке в ответ.

Она отошла от меня в сторону собора, а я все стоял в недоумении и чувствовал, что чуть-чуть не совершил нечто постыдное. Почему я это почувствовал — не знаю, но, слава Богу, почувствовал.

Трамвай, на котором я отправился в обратный путь, оказался другой, и кондукторша в нем была другая — юная, веселая, звонкоголосая.

— Обилечиваемся! Обилечиваемся! — радостно щебетала молоденькая кондукторша.

Как и в прошлый раз в трамвае было немногочисленно, и все расселись по местам молча. Я подошел к кондукторше и протянул ей трешку.

— Вы до поселка? — взглянув на меня с любопытством, спросила девушка.

— До поселка.

— Ну тогда, может, еще успею набрать сдачи, — приветливо улыбнулась мне девушка. — Чего-то вы у меня никогда не ездил. Приезжий?

— А вы что всех помните? — с радостью поддерживал я разговор, глядя в ее зеленые наполненные светом глаза.

— Сто процентов!

Наверное, она была бы не прочь еще поболтать со мной, но сидевшая на переднем сиденье бабушка в белом платочке протянула ей пятак.

Я пошел сел на свое место у окошка с солнечной стороны, а кондукторша, рассчитавшись с бабушкой, пошла по вагону «обилечивать» других пассажиров.

Как и утром, сидя на солнечной стороне, я смежил веки и опять попытался думать о кубинском старике Сантьяго, попытался вообразить его. На сей раз ничего у меня не получилось. Я увидел только лодку на песке и белый остов обглоданной акулами пятиметровой рыбы марлин, прикрученный к борту лодки. «В повести Хемингуэя текста совсем немного, — подумал я, — а вот

подтекста хватило на весь читающий мир».

Потом я стал думать о бабушке, которая попросила у меня прощения неизвестно за что на площади собора, о кондукторше средних лет с ее кроссвордом, в котором я угадал слово «колонна», и наконец, всласть, о кондукторше — юной. Зеленоглазой, веселой, любопытной и доброжелательной к приезжим в моем лице.

«Какая она симпатяга, — думал я о кондукторше, — наверное, после школы не поступила сразу в институт и теперь работает. Ездит туда-сюда по дороге, где не так уж давно шла колонна заводчан и некоторые шагали своими ногами по своей земле в свой последний путь. А небо, наверное, стояло в тот день такое же высокое, как сегодня, и птички пели, и все надеялись на лучшее». Тогда я уже чувствовал великое беспамятство жизни, но, конечно, не так безнадежно, как сегодня.

Наконец трамвай приехал на мою остановку. Я терпеливо подождал, пока все сойдут, а потом подошел к юной кондукторше и во второй раз протянул ей неизменную трешку.

— Не набрала сдачи, — сказала девушка, отводя мою руку таким нежным прикосновением, что я смутился и, наверное, покраснел.

Точно покраснел, иначе в ее сияющих глазах не кувыркнулись бы такие чертики, что у меня аж дух захватило.

— Прости, — пробормотал я невнятно.

— Бог простит, и я прощаю! — засмеялась девушка и еще раз прикоснулась к моему запястью. — В другой раз сочтемся, — добавила она чуть дрогнувшим обнадеживающим голосом. Во всяком случае мне самонадеянно показалось, что она хотела меня обнадежить.

— Нюся! — высунулось из-за стеклянной двери полголовы седовласого водителя трамвая и его длинная рука в клетчатой рубашке. — Нюся, на два рубля, остальное у тебя найдется.

Так неожиданно разрешилась наша задача — ни я не успел ей ничего сказать, ни она мне ответить.

Зеленоглазая Нюся дала сдачу — два рубля рублями и горсть медяков. На этом и разошлись

наши пути раз и навсегда.

По дороге к дому тетушек я зашел в продуктовый магазин, чтобы купить им чего-нибудь сладенького. Но ни сладенького, ни кисленького в магазине не было — только пустые полки отсвечивали оцинкованными листами. Правда, в самом дальнем углу за прилавком возвышались до потолка сотни банок крабов в собственном соку. Стоили те дальневосточные крабы копейки, но народ их не брал. Люди еще не знали, что крабы — деликатес, и не покупали их, брезговали. Не купил и я.

Дома меня ждала только тетя Нина. Она сразу же усадила меня за стол и налила тарелку борща.

— А где тетя Валя? — спросил я, с удовольствием съев вкусный борщ.

— К Жанночке поехала, в город.

— А кто такая Жанночка?

— Валина дочка.

— Она в городе живет?

— Не живет. Она там похоронена в оградке нашей мамы, а ее бабушки.

— Ничего себе! А я про нее ничего не слышал. Как это так?

— Привыкли жить молчком, — убирая мою тарелку и ложку, сказала красивая тетя Нина.

У нас все женщины в роду были красивые — и мои бабушки, и мои тети, и моя мама.

— На второе жареная картошечка с луком, любиишь? — спросила тетя Нина.

— Очень. Я в Москве, в общежитии, считай, каждый день жарю картошку с луком на постном масле. Первые три курса пельмени покупал в картонных пачках, такие замороженные, слипшиеся пельмени. А теперь они мне так надоели, видеть не могу.

— Пельмени с мясом? — неуверенно спросила тетя Нина.

— А то с чем же? Конечно, с мясом.

— Балуют вас москвичей, — улыбнулась тетя Нина.

— Выходит, Жанночка — моя двоюродная сестра! — вдруг сообразил я. — Кузина? Ничего себе!

— Выходит, сестра.

— Ой, тетя Нин, расскажи мне про нее!

— Рассказывать особенно нечего, у нее была слишком короткая жизнь — она и до года не дожила девять дней. — Тетя Нина повернулась к плитке, на которой стояла сковорода с картошкой.

— Тетя Нин, не накладывай мне пока картошки, лучше садись, расскажи про Жанночку!

Тетя Нина послушно села за стол напротив меня.

— Я буду коротко, — сказала моя красивая тетя Нина, — остальное у Вали допросишь, может, она расскажет, если захочет.

— Давай хоть коротко.

— Нас с Валею поймали немцы в облаве здесь, в Новочеркасске. Потом повезли в Германию. Сначала мы предназначались на какие-то рудники, но на тех рудниках случилась большая авария, какой-то взрыв. Взорвалось что-то на тех страшных рудниках, и нас быстренько распределили к бауэрам, к хозяевам земли в Баварию. В общем, сильно повезло. С рудников мы бы живыми не вышли. Валею отдали в одно хозяйство, меня за тридцать километров в другое. Работали тяжело, но нас почти не били и не морили голодом.

— Что значит почти?! — с возмущением переспросил я.

— А то и значит. Били немножко, так сказать, для орднунга — это по-ихнему порядок. Зубов не выбивали, ребер не ломали.

— Какое они имели право?! — с возмущением переспросил я. — Что за дурацкий орднунг?

— Тебе про Жанночку, или про орднунг? — строго взглянув на меня спросила тетя Нина.

— Про Жанночку.

— Когда мы вернулись из Германии, Валя была уже на сносях, здесь и родила она Жанночку и назвала в честь отца.

— В честь чьего отца?

— В честь Жана. Отца девочки звали Жан.

— Нерусский что ли?

— Француз.

— А как он попал в Германию?

— Как и мы — по этапу. Жан работал у того

же бауэра, что и Валя. Как я понимаю, он был сильный и красивый мужчина, моложе Вали на два года. Он конюхом работал у бауэра, очень хорошо знал лошадей, рассказывал, что до войны у него во Франции была своя конюшня. Он звал ее замуж и когда их еще не освободили американцы, и потом, когда освободили и начали рассматривать кого куда, Жан признался, что он маркиз и что надеется вернуть свои дома и земли, звал замуж. Но Валя очень хотела домой.

— Наверно, она его не сильно любила, — сказал я.

— Не знаю. Сильно, не сильно — это ты у нее спросишь. В общем, она не осталась с ним, а перешла по моему примеру в советскую зону оккупации. — Тетя Нина помолчала, а потом добавила, — тогда она еще не знала, что беременна, срок был слишком маленький. Ну, тебе класть картошку?

— Не надо. Еще рассказывай.

— Рассказывать особенно нечего. Через несколько месяцев после войны мы с Валею оказались дома. Скоро она родила и назвала девочку Жанной. Потом Жанночка заболела, потом умерла... А сегодня большой церковный праздник — Прощенное воскресенье. Вот и поехала Валя, как всегда, просить у дочки прощения, могилку прибрать, уже и первые цветочки взошли: пролески, крокусы.

Мы долго молчали, а потом я сказал:

— И у меня возле вашего большого собора одна бабушка попросила прощения. Перекрестилась и говорит: «Прости меня, сынок, Христа ради!» Я думал, нищенка, полез в карман за трешкой, а в последнюю секунду вдруг почувствовал, что так нельзя, что этого делать нельзя.

— Правильно почувствовал, — сказала тетя Нина, — мы все в нашем роду не толстокожие, значит, и ты. В день Прощенного воскресенья всем православным полагается просить друг у друга прощения.

— Теперь буду знать. Красивый праздник.

— Так я картошечки положу, — предложила тетя Нина, — давай положу, а то остынет.

Я согласно кивнул, и она подала мне жареной картошки с луком.

— Ты завтра уезжаешь в свою Москву?

— Сегодня, через полтора часа, — сказал я взглянув на свои наручные часы «Победа».

— Поезд стоит у нас в поселке всего две минуты, — сказала тетя Нина, — нельзя опаздывать.

— Не опоздаю. Значит, ты говоришь, все должны просить прощения друг у друга?

— Все.

— Тогда я первый прошу у тебя прощения!

— Бог простит, и я прощаю, — светло взглянув мне в лицо, сказала тетя Нина. — И я прошу у тебя прощения!

— Бог простит, и я прощаю! — с удовольствием ответил я тете Нине и подумал о зеленоглазой девчонке в трамвае, которая сказала мне эту важную фразу первой. — Хорошо ты, тетя Нин, жаришь картошку, очень вкусно.

— Спасибо! — польщённо улыбнулась тетя Нина.

— Ты точно говоришь: все должны хоть раз в году просить прощения друг у друга?

— Все.

— Значит, мы все виноваты друг перед другом?

— Все.

— Ну, а в чем?

— Вот в этом! — тетя Нина яростно очертила в воздухе замкнутый круг. — Во всём этом!

Моя тетушка высказалась с такой энергией в голосе, что мне почудилось, будто стекла кухонного окошка прогнулись наружу. Такая у нее была манера без лишних слов отвечать на боль-

ные вопросы, без слов, но отвечать: так она понимала подтекст.

Я прочувствовал ее отчаянный жест всей душой и, пережевывая хорошо поджаренную на постном масле картошку с луком, всё думал и думал одну и ту же длинную мысль о всеобщей вине всех перед всеми.

Тетю Валю я так и не дождался от моей полуфранцузской кузины Жанночки.

На поезд не опоздал. А там быстренько залез на свою верхнюю полку и поехал к уже ставшей мне привычной московской жизни, где ждала меня койка в студенческом общежитии и воля вольная.

В молодости я был горазд спать по многу часов подряд — я и заснул под мерное покачивание вагона и стук колес. Мне снились кондукторши трамвая — сперва та, что постарше, а потом та, что помоложе, снились голые ветки деревьев в скверике, в которых я так ничего и не нашел, снилась старушка на площади у Вознесенского собора Войска Донского... Чистенькая, худенькая старушка в белом платочке.

— Сыночек, прости меня Христа ради! — сказала старушка.

— Бог простит, и я прощаю! — ответил ей уже набравшийся ума я и добавил: — И вы простите меня!

— Бог простит, и я прощаю, — тихо промолвила бабушка и ее почти прозрачные, едва голубые глаза при этом наполнились таким чистым светом, что даже сквозь сон я почувствовал и запомнил на всю жизнь, как коснулась моей души благодать. ■

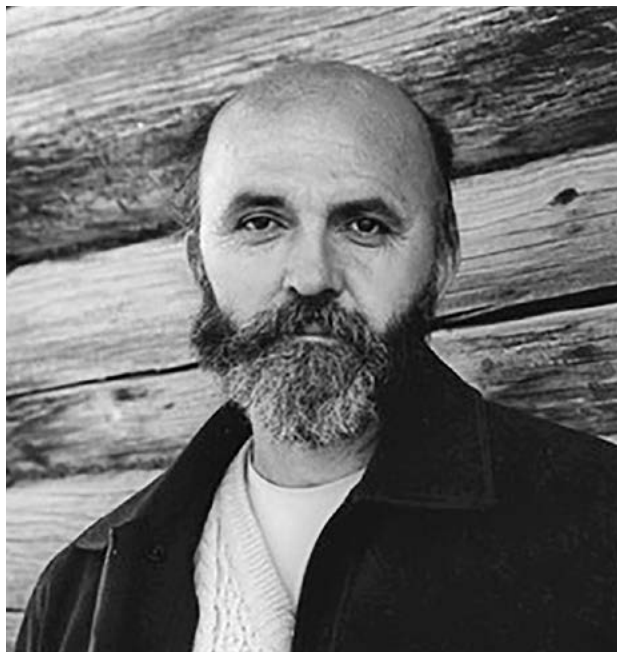
Весной всегда так много красоты,
Пока прозрачны тени от апреля
И низкорослые, неброские цветы
Коврами стелются вокруг деревьев.

Весной проводим взлядом красоту,
И сердце сразу как-то встрепенётся,
И тут же набираем высоту,
А ветер помогает и смеётся.

Весной в душе навалом красоты,
И, не стесняясь, можно ей делиться...
О чудо! Из эфирной частоты
Родные тут же улыбнутся лица.

ПОЭЗИЯ





НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Родился в 1960 году в станице Кореновской Краснодарского края. Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Международного конкурса газеты «Литературная Россия», Большой литературной премии России, Бунинской премии. Классик русской литературы. По мнению Ю. Павлова, Н. Зинovieв — самый выдающийся поэт современной России. Живёт в Кореновске.

«МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТОМ ВАСИЛЬКИ СОБИРАЕТ ОНА...»

* * *

*Просыпаться без мыслей печальных
О спасении души и России
Я хочу, но Небесный Начальник
Не даёт мне для этого силы.*

*И опять меня будит тревога,
Целый день будем с нею мы вместе.
 Попрошу завтра слово у Бога:
«Мне хоть раз бы проснуться как в детстве...»*

ОСЕНЬ 1967 ГОДА

*Пахнет свежестью и дустом...
На колхозном огороде,
Где не убрана капуста,
Одинокий кто-то бродит.*

*Может быть, он ищет Бога,
Может быть обычный вор.
Что гадать? В России много
Тех и этих с давних пор...*

* * *

*Как мы молоды были с тобою,
Будто в танце безумном кружились,
Но назвать наше чувство любовью
Почему-то так и не решились.*

*Я тебя провожал ненадолго,
Как тогда нам обоим казалось.
«Хорошо, что не верхняя полка», —
Ты сказала мне и засмеялась.*

*То, что было спасительно-важно,
Мы друг другу, увы, не сказали...
Сорок лет одиноко и страшно
Электричка кричит на вокзале.*

ТАЙНА

*Мы с нею встретились случайно,
Но в предназначенный нам час,
Ведь всякий случай — это тайна,
Объединяющая нас.*

*Она доверчиво глядела
Из-под опущенных ресниц...
Над горизонтом то и дело
Мелькали сполохи зарниц...*

*Пусть в Лету кануло то лето, —
Следов не видно на воде,
Но сердцем чувствую, что где-то
Мы снова встретимся. Но где?..*

ПРО ЛЮБОВЬ

*Руки помнят тебя, губы помнят,
Сердце помнит тот дивный полёт, —
Я любовью был на небо поднят,
Часть души моей там и живёт...*

*Всё прошло. И прошло безвозвратно,
И давно ты — чужая жена.
«Часть души, возвращаясь обратно!
Без тебя мне живётся неладно», —
Но, как будто, не слышит она...*

ДУША

*Босиком, нескончаемым летом,
Несказанного счастья полна,
Между Ветхим и Новым Заветом
Васильки собирает она,
Простирается в звёздные выси
И находит иголку в стогу...
И, конечно, мне страшно от мысли,
Что её погубить я могу...*

* * *

*Когда на исповедь несу
Свою истерзанную душу,
Я, вам признаюсь честно, трушу,
Что её этим не спасу.
Но всё ж рассудком человеческим
Я понимаю: больше нечем.*

В СТАРОМ ХРАМЕ

*Как здесь торжественно-прохладно!..
Возносят Господу хвалу
И чуть дрожащий свет лампы,
И я, стоящий на полу.*

*Здесь крепкой кажется держава,
Не разорённой в пух и прах.
Здесь время крепостного права
Таится в сумрачных углах...*

* * *

*Настали злые времена,
Причём, вселенского размаха.
Не только, думаю, меня
Переполняет чувство страха.*

*Как слабы наши рамена,
Сердца испуганы, а лица
Белее стали, чем стена...
Настали злые времена, —
Они научат нас молиться.*

* * *

*Придя сегодня в храм,
Вдруг понял я, убогий,
Как мало надо нам,
И как мы просим много.*

*Бог сам даст всё, что надо,
Покайся и молчи,
Как пламя у лампы,
Как пламя у свечи...*

* * *

*Чтоб не отчаяться во всём
И оставаться, как и прежде,
Не худшим мужем и отцом,
Молюсь Всевышнему в надежде,
Что он услышит голос мой
И мне дарует силу духа...
Замок дверной вдруг щёлкнул сухо, —
Жена и сын пришли домой...*

* * *

*Как можно не писать о грустном,
Когда один по вечерам
Гуляешь пересошим руслом
Реки, в которой старый храм
В далёком детстве отражался...
Тот старый храм так и стоит,
Но отражаться ему не в чем,
И я, гуляя, каждый вечер
Его приветствую как друга
Как друга детства моего...*

* * *

*Хорошо быть молодым.**Ю. Мориц*

*Хорошо быть молодым,
Ещё лучше — им остаться,
Чудный возраст — три по двадцать,
В голове всё тот же дым
Золотистого оттенка,
Только стала нить коленка
Да Серёга Соколенко
Почему-то стал седым...*

* * *

*Эту тихую рошу
И прибрежный лужок
С коровёнкою тощей,
Этот милый стожок,
Этот мостик непрочный,
Чтоб врагу не отдать,
Может быть, в час урочный
В рай с собою забрать?..*

УТРО НА ХУТОРЕ

*Рассвета крылья распростёрты,
Но не подвижны. Облака,
Собравшись в лёгкие эскорты,
Над степью замерли пока.*

*Всё не колышется, не дышит,
Но всё рванётся, запоёт
И заискрится, лишь услышит,
Как дед Арсений кашлянет...*

* * *

Сестре Ирине

*Ты у окна стоишь, на плечи
Накинув старенькую шаль,
А за окном осенний вечер
И сиротеющая даль...*

*Ты не забыла как вчера,
Когда ты так же вдаль глядела,
Из детства майская пчела
В твои раздумья залетела?..*

* * *

*Третий день сосед не ест, —
Изнасиловали дочку.
Вот и всё, я ставлю точку.
Или надо ставить крест
На всей этой несуральной
Жизни нашей безобразной,
Полной нечисти и мрака,
Хоть и нет такого знака?..*

МОНОЛОГ БОМЖА

*Я был художником, имел
Успех немалый и квартиру,
Жену-красавицу, и миру
Всё что-то доказать хотел.*

*Когда жена ушла к другому,
Потом — квартира и успех,
Душа, как будто впала в кому,
Я был разделан под орех.*

*Не привлекает никого
Теперь невзрачная палитра
Существованья моего...
Короче, дайте на пол-литра...*

* * *

*Зло достигло гигантского роста,
Ложь повсюду гуляет нагой, —
Может, мир наш действительно просто
Ад планеты какой-то другой?..*

УТРОМ

*Что за птаха поёт на заборе?
Дарит сердцу отрадную весть,
Что, помимо тревоги и боли,
В этой жизни ещё что-то есть,
Что не всё рассыпается прахом,
Что все были когда-то детьми...
Значит кроме тревоги и страха,
Есть ещё, чем делиться с людьми.*

ГОРЬКИЙ

*Когда счастливым стану снова,
Я счастье спрячу в глубине,
Чтоб ни походкой и ни словом
Не выдать, что оно во мне.*

*Казаться буду сиротливым,
Придётся даже, может, лгать,
Чтобы никто не мог узнать
То, что я снова стал счастливым...*

* * *

*Я ничего не приобрёл
С теченьем многих зим и лет,
Поскольку время — это вор,
Теперь сомнений в этом нет.*

*Где мальчик — горный свет в душе
И золотые пряди?
Он нагло временем украден,
И не вернуть его уже.*

*Да, несомненно, время — вор,
Но что печальнее всего,
Терзает мысль с недавних пор:
Я не сообщник ли его...*

* * *

*Мои стихи от совершенства
Так далеки, как Жизнь сама.
От них легко сойти с ума,
И трудно ощутить блаженство.*

ПРИЗНАНИЕ

*Вы ко мне не будьте слишком строги,
ПризнаЮсь как истинный поэт:
Я всегда сильнее любил рассвет,
Чем о нём рифмованные строки.*

* * *

*Человек человеку — глад,
Человек человеку — мор,
Человек человеку — ад,
Человек человеку — вор,*

*Но пройдёт десять тысяч лет
Или день подведёт итог,
И откроется новый Свет:
Человек человеку — Бог.*

* * *

*Страну, попавшую в трясины,
Лишь Бог вернёт на твёрдый путь,
Лишь только Бог спасёт Россию,
Поймите это, в этом — суть.*

*И потому не возноситесь:
Чей предок — барин, а чей — смерд,
А, воспарив душой, молитесь,
Чтоб спас страну Небесный Витязь,
Иначе — смерть...*

ЛУЧ

Сергею Зубареву

*Луч рассветный на верстак
Дедушки Андрея,
Словно древний тайный знак,
Падал, доски грея...*

*До сих пор сквозь толщу лет
Он летит оттуда,
Где ни смерти нет, ни бед...
Кто-то скажет: "Что за бред?"
Кто-то скажет: "Чудо!"*

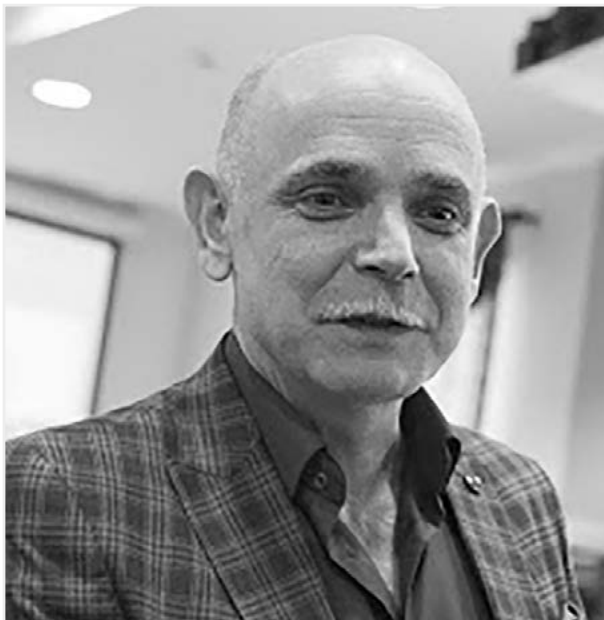
*Никого я не учу,
Сам решает каждый,
Но по этому лучу
Я уйду однажды...*

* * *

*Что делать нам
с бессмертными стихами?
Николай Гумилёв*

*За свои и чужие грехи
Жребий наш предрешён небесами.
Сочинённые нами стихи
Что хотят, то и делают с нами.*

*Всё, что мы называем судьбой,
Тайным силам творится в угоду.
Даже мнимая власть над собой
На корню убивает свободу. ■*



АЛЕКСАНДР ФОКИН

Родился в 1966 году. Литературовед, поэт. Автор книг «Иосиф Бродский в контексте русской поэтической традиции», «Илья Сургучёв: проблемы творчества», «Художественный мир Г.И. Шилина», «Мистические аспекты творчества И.Д. Сургучёва». Живёт в Ставрополе.

«ВЕСНОЙ ВСЕГДА ТАК МНОГО КРАСОТЫ...»

* * *

*В каждом дереве звук —
Иероглифы песен.
Понимаешь ли ты,
Как весь мир интересен?*

*Кто-то кисти листвы
Взял и воздух бумаги,
Записал эти песни
Послеливневой влагой.*

*И слова не нужны —
Иероглифы жизни
Бесконечно нежны
И всегда бескорыстны.*

07.09.2020.

* * *

*Весной всегда так много красоты,
Пока прозрачны тени от апреля
И низкорослые, неброские цветы
Коврами стелются вокруг деревьев.*

*Весной проводишь взглядом красоту,
И сердце сразу как-то встрепенётся,
И тут же набираешь высоту,
А ветер помогает и смеётся.*

*Весной в душе навалом красоты,
И, не стесняясь, можно ей делиться...
О чудо! Из эфирной частоты
Родные тут же улыбнутся лица.*

04.04.2020.

* * *

*Плачут белые берёзы,
Им тепло от вешних грёз,
Долгожданную, благую
Ангел светлый весть принёс.*

*По земле, ласкаясь, льются
Реки сладкие берёз.
Пейте люди, звери, птицы,
Летом будет не до слёз.*

*Плачут белые берёзы,
Пьют их слёзы соловьи,
Чтобы петь всё лето песни
Для любимой о любви.*

23.03.2018.

* * *

*Вновь зазвучало чирик-чирик
Ямбом, анапестом и хореом.
Я только-только молчать привык,
Ну а теперь — подпевай скорее!*

*Снова серёжки на всех столбах
Или деревьях... Не всё равно ли?!
В небе прелюдно грохочет Бах
Фугу растаявшей зимней доли,*

*И барабанит победный марш
Дождь, заскучавший по нашим окнам,
Сразу уменьшился жизни стаж —
Скачешь по лужам смешной и мокрый.*

*Новая песня — грачиний крик,
Он музыкально не так уж сложен,
Это — весна, и чирик-чирик
Сердца — никто заглушить не сможет.*

05.02.2021.

* * *

*Увлекает космонавтов небо
В даль, где есть ещё одна Земля,
А на этой — пахнет спелым хлебом,
Каждого к обеду ждёт семья.*

*Видно, есть весомые причины,
Чтоб в подлунной этой кутерьме
Втихаря мечтали все мужчины
О Венере или о Луне.*

*Бороздят неведанные степи
В поисках космических теней
До тех пор, пока не вспыхнет трепет
Осознания глубины корней.*

*Луны и Венеры неизбежны,
Им в надмирной вате не спастись.
Но в семье лишь можно, как подснежник,
На весенней скорости цвести.*

15.03.2018.

* * *

*И блики солнца на траве
Улыбкой Будды,
И ты идёшь, как по воде,
За ним как будто...
И неба, кажется, рукой
Вот-вот коснёшься,
И тонок утренний покой...
И вдруг проснёшься!..
А рядом — ранняя весна,
Леса без листьев...
И говоришь: «Вот чудеса!*

*Где краски, кисти?»
И тут же поглотит тоску
Улыбки ветер,
И ты опять — мазок к мазку —
На целом свете.
И если дальше заглянуть —
В июнь и лето,
И там продолжить красок путь —
Мазком пригретым,
И передать точь-в-точь, тон-в-тон
Лучи и листья,
То жизнь, похожая на сон,
Во всём случится!*

05.03.2020.

* * *

*Тьма коротка, а дни необозримы,
И новый — так и просится прожить...
Проходят быстро осени и зимы,
Чтоб мы весной учились дорожить.*

*Жизнь — одуванчик: золотой и белый.
Смешны его седые семена,
Но ведь без них не станет загорелой
И самая далёкая весна.*

*Цветы весны — земные херувимы —
Над каждым стеблем вспыхивает нимб,
Их крылья — как всегда неуловимы,
А лики — только в памяти храним.*

10.04.2020.

* * *

*И пусть гуляет по рукам,
Как грош, изменчивое время,
Мы остаёмся только теми,
Кем хочется остаться нам.
Нежнее слуха, тоньше слов
Запечатлевшееся зренье...*

*И снова стать стихотвореньем,
Едва проснувшись, мир готов.*

17.09.2020.

* * *

*Небо майское взъерошено:
Облака цветных шаров
С пожеланьями хорошими
Ввысь летят из всех миров.*

*Там, вверху, в палитре вечности
Их прочтут и соберут,
И весны автоответчиком —
Первой радугой — вернут.*

*Дождь слепой всплакнет, играючи,
По закону бытия,
И разбуженные бабочки
К солнцу стайками взлетят.*

01.05.2018.

ЛЕТНИЙ САД

*Яблонька в центре — привычное дело,
Рядом она — тоже дева, как дева,
Будто в раю, в этом летнем саду —
Яблоки зреют у всех на виду,
Солнечный зайчик целуется с тенью,
Птички, поддавшись его настроенью,
Дружно поют. Что не так-то в саду?
Завтра приду и скошу лебеду.*

*Бабочек, птиц и зверей посчитаю —
Кто здесь чужой или лишний узнаю.
Плод от плода, плоть от плоти в саду,
Разве в бурьяне кого-то найду...
Яблочко к яблоньке — плод возле древа,
Подле меня — тоже плод — только Ева.
Можно ли скрыться в счастливом саду?
Всю покосил я траву-лебеду!*

*Первое яблочко скоро созрело...
Плод сорвала обнажённая Ева.
Кто-то смеётся над нами в саду...
Больше сюда никогда не приду.
С тенью какой-то зайчата играют,
Птицы молчат и душа замирает.
Вот чего не было в нашем саду!
Видно, скосил лебеду на беду...*

10.08.2020.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

*В венке из ветра, в платье из дождя
И в ландышевой, в бусинках, накидке
Приснилась Золушка. И днём я ждал
Карету из огромной спелой тыквы.*

*Не встретились... Рассыпались цветы,
Что бисер, по вспотевшему асфальту,
И липнет королевство пустоты
К душе, как антиаллергенный пластырь.*

*Минула полночь, отгремел салют,
Развеселив шарами темень неба,
Опять во сне, опять ищу и жду,
Хоть принцем, даже маленьким, я не был.*

*Меня любовь к ней делает сильнее
Любого из живущих королей.*

09.05.2017.



Викторов
В. И. 06

3 1988

Виктор Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

(Неписанные воспоминания)

Литературному музею
Л. Г. Кухаренко

В. Лихоносов

2011

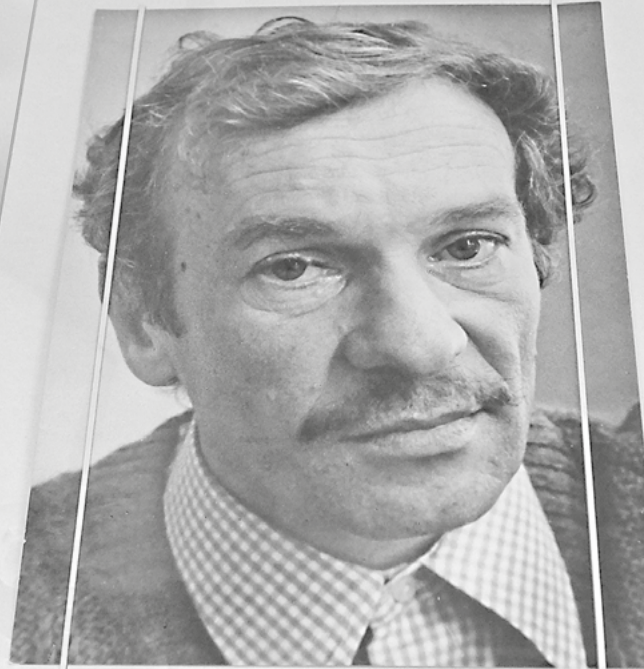
КРАСНОДАРСКОЕ ОБЛАСТЬ

В. Катрищев

Книга. В. И. Лихоносов. Наш маленький Париж.
Неписанные воспоминания. Краснодар. 2003 г.
С автографом и дарственной подписью Литературному музею Кубани



НА СТЫКЕ ЖАНРОВ



В. И. Лихоносов. 1980 г.



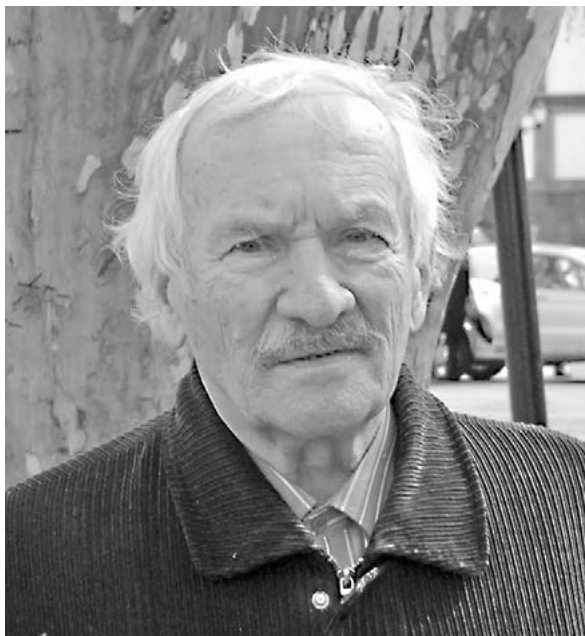
ЛИХОНОСОВ

ЧИСТЫЕ ГЛАЗА

Воспоминания

ЧТО-ТО БУДЕТ
ЖЕНСКИЕ СЛУЗЫ
ТАНЯ, ТАНЯ...
МАРГА
ЧИСТЫЕ ГЛАЗА
ТОСКА-РУЧЬ
РОДНЫЕ
ЧАЛДОНКИ
НА ДОЛГУ
БРЯНСКИ
КОГДА-Н
ДЮБЛЮ
ОСЛЕД

V. I. Likhonosov



ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

Родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской области. С 1956 года живет на Кубани. Классик русской литературы. О его творчестве восхищенно отзывались Б. Зайцев, Г. Адамович, Ю. Казаков, А. Твардовский, В. Распутин, О. Михайлов, Ю. Селезнев и многие другие. Лауреат самых престижных литературных премий. Создал журнал «Родная Кубань» и 18 лет был его главным редактором.

ДАРОВАНО ГОСПОДОМ

К 200-летию И. С. Тургенева

Как дороги мне мгновения, часы, светлые дни родственного чувства к великим русским писателям (и то же только к знаменитым, но любимым). Оно покоится в тебе, забывается, гаснет как день, потом опять рассветает, в кои-то дни возбуждается заметнее, радостнее. И я вспоминаю, что всего сокровенней, тоньше, певучей звучит оно в усадьбах, где заветные классики родились или куда приезжали к бабушкам-дедушкам, братьям и сестрам, И где что-то вдохновенно писали.

Господь даровал им тонкость и красоту души и («как нарочно») дивную красоту окружающих мест, так схожих с тем, что они сотворят в художественной своей ипостаси. Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Боратынский, Веневитинов, Тютчев, Аксаков, Некрасов, Фет, Л. Толстой, К. Леонтьев, Блок, Есенин, Шолохов, Белов, Рубцов, Шукшин, Распутин, Абрамов, Астафьев богаты такими приютами, такими родовыми обителями.

И Тургенев Иван Сергеевич...

«Только и думаю о возвращении весной в возлюбленный Мценский уезд, — писал он О. Хилковой в 1861 году. — Егорьев день, соловьи, запах соломы и березовых почек, солнце и лужи по дорогам — вот чего жаждет моя душа...»

Двести лет назад родился он.

Нынче, «во дни сомнений, во дни раздумий о судьбах моей родины», полезно подчеркнуть вековую дальнюю родовитость писателя. Приятно прочитать в «Тургеневском сборнике», что Тургеневы ведут свой род с 1440 года от татарского мурзы Льва Тургена, что прадеду по матери Ивану Андреевичу Лутовинову царь Иван Грозный пожаловал «на кормление сельцо Спасское», что царь Алексей Михайлович позднему Лутовинову (Марку Тимофеевичу) вручил в 1669 году ключ от города Мценска. Трофим Лутовинов был из Литвы. Иван Тургенев («Большой») славился Тульским воеводой. А прадед Алексей Романович Тургенев был пажом у императрицы Анны Иоанновны, затем боевым офицером.

Все это сплетало душу писателя с исторической да-

лью, растягивало вместе с красотах пейзажа мелодию его художественной речи и сберегало в нем (несмотря на симпатию к Европе) глубоко русскую статью.

Мы ехали из Ясной Поляны через городок Чернь в село Тургенево и говорили как раз об этом. Через три дня исполнялось 190 лет Л.Н. Толстому, и я на ночь читал статью Т. Комаровой «И.С. Тургенев в семейной летописи Толстых». Все соединялось близостью русского художественного величия — Толстой, Тургенев, XIX век, дворянские усадьбы, родовитая Русь. И мы говорили, вспоминали страницы, известных героев. Везде теперь печалилась забытая родная старина, и душа хотела воскрешения ее с помощью классиков хотя бы на мгновение поклона, путешествия в прежние домашние гнезда. Как будет праздновать юбилеи общество, мы не гадали, нынче предвидеть что-нибудь трудно, но мы приберегли свое затаенное родство с писателем, которого каждый из нас читал в разных возрастах.

Хранитель фондов дома Толстого Надежда Переверзева, научная сотрудница из той комнаты, где после войны пребывал Сергей Львович, Людмила Васильевна и неутомимый отзывчивый Александр (фотохронограф усадьбы), разделяли моё тоскливое желание почаше и подольше созерцать славные уголья классиков. Все в тот день было какое-то тургеневское: сентябрьское солнце, сухая травяная дорога, несколько раз встречавшаяся узенькая (шириною в десять сажень и меньше), какая-то сиротливая, девически-чистая речка Снежедь и, слава Богу, само ещё целое сельцо Тургенево, и возникшая на пороге особняка милая тихая приветливая Светлана в синем костюмчике, хранительница экскурсовод. Она живет неподалеку в маленьком селе, и это еще приятнее сближало ее с глухими тургеневскими временами.

«Вы из “Месяца в деревне” или из “Дворянского гнезда?”» — хотелось мне потревожить ее женское тщеславие, но я сдержался.

Она рассказывала нам о том, что затвержено в путеводительских листах о тургеневских владениях возле речки Снежедь.

«Имение прабабки Прасковьи Михайловны, в девичестве Сухотиной, и деда Николая Алексеевича... В 1813 году всего сто тридцать душ. От Спасского-Лутовинова восемнадцать верст... Церковь Введения Пресвятой Богородицы. Вы видели ее, когда въезжали. Семейная реликвия — серебряная икона, осыпанная по венцам жемчугом, сопровождала Тургеневых в бою, берегла их... В этой комнате Иван Сергеевич писал рассказ “Певцы”»...

— И где тот стол? — спросил я саму пустоту времени.
— Кто скажет... Кто последний выносил его куда-то, не зная, что мы будем печально вздыхать.

Мгновение вечных драгоценных потерь просквозило нас и тут же сменилось суетой разговора.

«Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль...»

И вспомнилось все! Вспомнились школьные уроки, учебники, портреты писателей в коридорах и классах, «Записки охотника» и все знаменитые рассказы: «Муму», «Хорь и Калиныч», и эти «Певцы», и книги Тургенева на полках библиотек, и роскошное собрание его сочинений в двадцати восьми томах, изящных, завернутых в белую обложку...

— А Колотовка далеко? Меня так когда-то приглашал к своей матери курский писатель Петр Сальников, она жила как раз неподалеку, где пели в рассказе Яков-Турок и рядчик из Жиздры. Как тихо у вас и хорошо вокруг... Мне всегда в такие мгновения хочется остаться и пожить... А надо ехать... Зачем мы торопимся уехать подальше от преданий?

«Небольшое сельцо Колотовка... лежит на скате голого холма...»

И мы с сожалением попрощались с доброй Светланой и поехали проводить Бежин луг, чтобы сказочно явилась нам та зеленая долина, которую знали с детства по бессмертному рассказу Ивана Сергеевича, и... мальчиков в ночном у костра, почти родных нам благодаря гению Тургенева — Федю, Павлушу, Костю и Ваню.

«Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга».

И я увидел наконец-то этот круглый луг, стоял в сторонке у березовых прясел и чуть не плакал. Я жалел этих мальчиков, давным-давно покинувших белый свет, жалел самого себя, маленького, чисто верившего всякому

доброму слову писателей, жившего на сибирской улице, пожалел в свои восемьдесят два года и великого писателя, который прожил всего шестьдесят три года...

Речка Снежедь и здесь была с нами. А как умел народ называть свои жилые места! Поблизости от села Тургенево — Кобылий верх, а там вокруг где-то деревни Жучиная поляна, Большая Рябая, Красивая Меча и Батюшкин пруд. И на краю Бежина луга Прощеный колодец, к которому носили бабы обмывать детей — чтоб не болели. Тут и писатель бывал, конечно. Всё народное влияло на его творчество.

«Был прекрасный июльский день, один из тех дней...» — так я помню с детства начало рассказа.

А я, спустя десятилетия, застал солнечный теплый день... сентябрьский...

Всё то же вокруг, что и целые века. Но как менялась русская жизнь!

— Хочется все перечитать, — сказала радостная Надежда Переверзева.

— И Колотовку найти, и проехать той же дорогой в Покровское, что и Иван Сергеевич ездил к Марии Николаевне Толстой... Всё близко, всё рядом. А там и усадьба Дельвигов возле Хитрово.

— И Гриневка, и Никольско-Вяземское.

— Сложилось так, что писательские имена и напоминают о родовой Руси прежде всего. В дни их юбилеев воскресает не только литературная слава, но и патриархальная, великорусская. Спасибо, что они были. Когда вот так обитаешь по усадьбам, то с тобой не только Хорь и Калиныч, Лаврецкий или Лиза Калитина, а и все русское, дальше, усмирившееся долей земной. Кланяешься всем.

Речка Снежедь вилась девичьей косой в низине, то пряталась от нас, то открывалась и звала к себе и перед графским имением Покровским опять изогнулась и зверьково пропала в густом лесу.

«Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко.

— Попробуем, что ли, и мы. Слова знаете? Молчите. А барин, крепостник Тургенев, знал.

Худенькая, всегда молчаливая Людмила Васильевна спасла всех от неловкости.

— Я взяла с собой тонкий журнальчик «Русская земля», в нем не песня про дороженьку во поле, а стихотворение Ивана Сергеевича, такое чистое, даже детское.

*Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей.
Поля просторные, немые
Блестят, омытые росой.
Ручей журчит во мгле долины
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветер в листьях осины
Трепещет пойманным крылом.
Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый темный лес молчит.
Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огнях заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.*

— Нынче такая хрупкая пора в обществе, что у классиков полезнее выбирать самое близкое русскому сердцу. Не мотивы отрицания в романе «Рудин», не базаровщину в «Отцах и детях» навязывать, пережевывать, нет, нет, совсем другое, что-то очень родное, простое и доброе, чего в русской литературе достаточно. «Записки охотника» необходимее романа «Новь», мелодии «Певцов» и стихотворений в прозе почаще бы звучать по радио. «А на душе легко и свято» — куда это исчезло? И что же это: писатель, вроде даже славнофил, как я, восторгается рассказом Тургенева, в котором Яков-Турок, наверняка неграмотный, и рядчик из Жиздры гениально поют «Не одна во поле дороженька пролежала», этот самый писатель не может подхватить, потому что не знает слов старой песни. Так и скажем: простите нас древние люди и вы, Иван Сергеевич.

За спиною моею молчали, а Надежда слева за рулем поддержала меня мудрой улыбкой.

В густом желтом золотарнике, достававшем верхушками наши плечи, мы огляделись, полюбовались лесным горизонтом и простодушно поверили в то, что так всё и было в давности, когда Тургенев подъезжал в коляске к Покровскому и так же, как мы, видел вдали белый камешек, то есть особняк, в котором обитала в тот миг Мария Николаевна, будущая героиня повести «Фауст».

— И «Фауста» надо перечитать, — сказала Надежда.

В пустом одиноком Покровском домовничал Александр Григорьевич, ждал нас, знал, что мы паломниками явимся со стороны селца Тургенево. Опять душе было тепло оттого, что нас соединяют писатели — Тургенев и Толстой.

Но как тихо и скучно вокруг, где ещё после войны полными, живыми стояли деревни.

— Что ж вы, толстовские хранительницы, примолкли и не удивляетесь? — нарочито спросил я. — Разве вы не слышите, как они разговаривают, смеются, поют, разве вам не верится, что они все здесь бывали? Братья Толстые, Дельвиги, Тургенев, Мария Николаевна и её крошка Варечка, к будущей дочери которой, Татьяне Николаевне (подумать только!), я приходил в семидесятые годы в Краснодаре на улицу Советскую (бывшую Графскую). Вот как близки сроки земные.

— Уцелела только речка Снежедь... — сказала Надежда.

Комнаты в доме Александр Григорьевич потихоньку кое-чем старинным обставил, любовно убрал, полочку оснастил книгами. Мне тотчас выпала книжечка Н.П. Пузина «Вокруг Толстого», и так же угодливо раскрылись страницы про Тургенева и Машу Толстую.

««Фауст» был написан для неё и про неё» (М. Стахович).

«Вспоминая свою жизнь в Покровском, Мария Николаевна рассказывала... как она аккомпанировала Тургеневу, когда он пел известный романс Глинки на слова Пушкина “Я помню чудное мгновенье”» (Е.В. Оболенская).

Мы потрапезовали у стены особняка за уютным столом, почитали абзацы из «Фауста», отгадывали — задето ли в повести Покровское, нет ли чего нам знакомого, похожа ли на Веру Ельцову Маша Толстая, надеялись найти речку Снежедь...

В первых сумерках мы с крутой высоты еще раз подивились сиротству этой нескончаемой реченьки, которая и уцелела-то, кажется, во имя воспоминаний о великих русских писателях.

Л.Н. Толстому — 190, И. С. Тургеневу — 200.

Четыре стопочки с темрюкским коньяком поднялись и сблизились в согласии.

— Спасибо Господу, что даровал их России... ■

ГОСТЬ НОМЕРА

*«Я просто жил тем,
что люблю».*

Виктор Лихоносов





РОДНЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Беседа Анатолия Корчуганова с Виктором Лихоносовым

(Из документального фильма «Сочувствие человеку». ГТРК «Алтай», 1999)

А.К.: *Гость Шукшинских чтений 1999 года — лауреат Государственной премии Виктор Иванович Лихоносов. К нам на Алтай он прилетел из Краснодара. Хотя с Сибирью связан прочными узами, ведь родился он в Сибири и начинал как писатель в Сибири. И вот он участник Шукшинских чтений. Виктор Иванович, как Вы думаете, что заставляет такое количество людей каждый год приезжать в шукшинские места, которые не очень благоустроены и обихожены?*

В.Л.: Я думаю, что русские люди всегда ждут родного человека и очень рады, когда он появляется. Даже если говорить о политике: поддерживая какого-либо государственного деятеля, люди считают, что он им родной, а потом, случается, происходит какой-то обман.

А что касается писателей, то они, как и хорошие читатели, душою почувствовавшие Шукшина, Белова, Распутина, Рубцова, — это родные русские люди. Писатели выразили все истинные чувства русского человека, его судьбу. Поэтому в Сростках не происходит ничего удивительного. Может быть, некоторые намерения приходят из любопытства, например, местные жители. Но ведь сколько приезжих?! Это событие. Именно «деревенская проза» стала после войны первой, пробудившей в людях такие искренние родные чувства к родным писателям. Вот и все! Я так это объясняю!

Здесь не может быть никакой моды. Если

даже люди холодного характера, которые не обращают внимания на Шукшина, и то понимают, что Шукшин и другие писатели — это те творцы в нашем искусстве, литературе, жизни, без которых нельзя обойтись и нельзя представить Россию. Если ты проходишь мимо таких писателей, тогда считай, что ты уже не русский. Это нечто определяющее характер русского человека или менталитет (хотя я не люблю это слово), поэтому я не удивляюсь количеству людей здесь.

А.К.: *Судьба была милостива к Вам. На литературном пути Вы встретились с замечательными писателями: Ю.П. Казаковым, Ю.О. Домбровским. Когда читаешь Ваши произведения, это ощущается...*

В.Л.: У меня есть воспоминания о Домбровском под названием «Благодарю», и о Казакове я написал «Волшебные дни». Мне повезло, я работал в селе учителем, и ко мне милостиво отнеслись писатели. Потом стал ездить в Москву, печататься. Таким образом вошел в их круг — и это очень важно. Это не просто — попасть в круг каких-то известных людей... У Казакова прекрасные музыкальные рассказы, я был счастлив, что с ним дружу. А Домбровский был какой-то гигант. Он был таким образованным, крупным человеком, который меня поражал и заставлял самому немного копаться в книгах. И я что-то читал, изучал... И древность в том числе. Домбровский был очень честным

человеком. Я счастлив, что в самом начале своего пути они встретили меня хорошо и что я знал их.

А.К.: *А ведь их требования, наверное, были очень высоки?*

В.Л.: С одной стороны, они были строгими мастерами, но при этом делали для меня молодого поблажки. Хвалили, помогали, опекали меня. Но я считал, что они меня просто жалеют, особенно Казаков на первых порах. Хотя я не говорю, что они проталкивали мои работы, нет! Дело не в этом! Мне все казалось, что они меня жалеют, любят, как старшие, как мастера большие, а я провинциал. Но затем я понял, что это очень искренне. Я жалел, когда они ушли из жизни. Очень важно, в самом начале пути прикоснуться к высокому, настоящему не просто через книги, но и знакомство с очень большими людьми. Хотя бы для того, чтобы испугаться, чтобы понять, что ты еще не дорос, что у тебя мало знаний, осознать, что ты являешься провинциалом в культуре и что тебе нужно подтянуться, — это очень важно. Не нужно считать себя выше, это ни к чему хорошему не приведет. И поэтому я с осторожностью с ними общался, несмотря на то, что они ко мне относились прекрасно, например, обращаясь на ты, выпивая вместе. А Домбровский вообще был простак в быту. Но я про себя знал, что совершенно не дорос до них, и в знаниях в том числе.

А.К.: *Вернемся в Сибирь. Поговорим немного о В. М. Шукшине. В 60-е годы не доводилось ли Вам встречаться или слышать что-либо о нем в Москве?*

В.Л.: Я работал учителем на Кубани, под станицей Варениковской. На окраине хутора стояла маленькая хатка, где была библиотека. Я как-то пришел туда, и мне сразу же попался журнал «Молодая гвардия». Там я прочел один из первых рассказов Шукшина с предисловием его учителя и режиссера Ромма. Это и было

мое знакомство с Шукшиным. Потом прочитал его первые сборники. Затем он стал часто печататься. А потом я Шукшина один раз увидел в редакции «Нашего современника». Мы стояли в коридоре, курили, я его немного стеснялся. Затем поехали выступать на окраину Москвы. Выступала редакция журнала «Наш современник», а я нет. Затем я видел его всего один раз и то перед смертью в 1974 году. Тот год для Шукшина был самый триумфальный, он был на Кубани, на фестивале, потом заехал в Новороссийск и в Краснодар (я не помню, где был). Он передавал мне привет. Вот и все! Вот и все...

А так — только книги. Я помню, как читал его книги, как читал «До третьих петухов», как впервые посмотрел по телевидению «Печки-лавочки» уже после его смерти. Я помню многие книги, где и как я их читал, в каком состоянии находился и какое впечатление они на меня производили. Помню, как читал Бунина, Казакова, Паустовского. И как читал Шукшина. Как читал его роман о Степане Разине, который мне не нравился.

А.К.: *А сейчас?*

В.Л.: Я его больше не читал, не нравится он мне. Шукшин — большой писатель. Можно объективно оценивать, но читатель субъективно должен воспринимать. Это же для него пишется.

Все время нужно думать: в какое время мы живем, в каком состоянии народ находится, какой разброд в душе. Даже у стойких людей душа покачнулась. И вот надо уже какие-то новые мотивы в таких случаях находить душой и поворачивать их посильнее. Нужно ведь понимать, что происходит. Можно подумать и так, что некоторые классики нашей русской литературы очень похожи народностью своей и человечностью на Шукшина, не будем называть фамилии. Но ведь много ли у нас таких мест на Руси? Не будем классиков вспоминать, это уже все известно, да? А вот у недавних советских

писателей много ли таких мест для русской души? Только что, недавно умерших писателей? А если они где-то есть, и мы вот такого не устраиваем пиршества душевного, то в чем дело? Ведь дело не только в плохой идеологии, строгой, суровой или жестокой, какая она была, но почему так жизнь-то писателя складывается, почему такое непризнание?! Сколько это еще может продолжаться, почему ж мы так своих не бережем? Причем, мы постоянно об этом говорим: мы их не бережём. Ну в чем дело, а? Вы думаете, что Шолохова берегли? Нет, сами писатели причем не берегли. Спустя 15 лет после его смерти мы можем сказать, что для памяти ничего не сделано: ни собраний, ни воспоминаний, ничего. Не знаем, как там дом стоит, как живут его дети...

А.К.: Зато гуляет клевета...

В.Л.: А клевета для меня — это мертвое дело, потому что нужно знать природу художественного творчества, и все! Нужно вспомнить шолоховские глаза, вспомнить наброски первые, в войну написанные «Они сражались за родину» — это все одна и та же рука!

А.К.: Вы как писатель не можете ошибиться.

В.Л.: Да они мне никогда не докажут ничего. Я сам вижу, читая мемуары, например, белогвардейские или газеты. Есть даже газетные страницы, несвойственные высокой прозе, т.е. он молодой был очень, на ходу учился, там всё видно, и огрехи видны, огрехи именно человека, который учился писать и пишет во всю. Ему было очень тяжело. Говорят, что его пригрела партия... Как пригрела? Сталин ему дом построил, а он потом все выплатил за дом. Но это ладно... Он ведь, чтобы спасти «Тихий Дон», сел писать «Поднятую целину». А четвертой части «Тихого Дона» еще не было, но он уже всё понимал. Хотя «Поднятая целина» была не сахар для нашего правительства, но всё же. У Шолохова очень сложная трагическая судьба. Это тоже Гришка Мелехов, только уже в позд-

ней жизни. И многое другое можно сказать... Поэтому вся эта «клевета» — выдумка, так надо кому-то. И мы знаем, кто это делает.

И Солженицын очень агрессивно тоже этой темой занимался: писал предисловие клеветническое к книге о «Тихом Доне». Но Солженицын потерпел страшное поражение, написав «Красное колесо». Главное в художественном произведении — это русские типы. Они есть в «Тихом Доне», «Поднятой целине», в «Они сражались за родину». Я начинал читать, но не могу дочитать «Красное колесо», и как-то с сожалением об этом говорю. Я ждал последние русские типы той России, которая погибла, а Солженицын, оказывается, не может писать. Он может писать только политические какие-то вещи, понимаете? Хотя я думаю, что в душе Солженицын все понимал и «Тихий Дон» читал с удовольствием.

Шолохов — большой художник, великий художник, и «Тихий Дон» читали и будут читать. Это русский человек написал. Роман написал русский человек. Я никогда не скажу, что Шолохов не автор. Такое сочувствие к человеку, как в «Тихом Доне», такие описания удаются только гениям. Шолохов ведь не политикой в «Тихом Доне» занимался. Он сочувствовал трагедии человека и написал великий роман. Нужно также учесть, в какое время он создавался, конечно. Всего Шолохов написать не мог.

А.К.: Вы написали роман-хронику «Наш маленький Париж». Он пронизан какой-то необыкновенной любовью. Вы здесь шли своей тропой, но и Шолохов уже как будто при написании присутствовал, и вообще, наверное, вся великая русская литература стояла за этим?

В.Л.: Прямо Шолохов на меня никак не повлиял, потому что мои мотивы начались, вспыхнули иначе. Я не собирался писать какой-то огромный роман, раскапывать исторические пласты, которые и до этого показывали.

А у меня как-то иначе всё родилось...

В Краснодар в 1956 году приехали из Парижа наши русские люди, казаки, и я с ними общался. Один в Ростове жил, приезжал к брату, и они на меня произвели впечатление русских людей, которые потеряли Родину. Они жили там, среди эмигрантов, видели весь цвет русских, цвет России. Я ведь еще и Бунина очень любил, я еще и переписывался о Бунине (Казачков навел — адрес дал) с русскими писателями, с друзьями Бунина из Парижа. И когда я получал оттуда письма, то, конечно, душа моя чувствовала, что я получаю письма из другой России. Это невозможно объяснить. Там ведь не было ничего политического. Хотя один белый офицер, который мне писал, обвинял, конечно. Но это меньше на меня действовало, нежели письма Бориса Константиновича Зайцева, Георгия Викторовича Адамовича (этот поэт когда-то дружил с Ахматовой, был самым известным критиком в эмиграции) и Леонида Федоровича Зурова. И вот оттуда шло такое дуновение старой России, это на меня действовало.

Потом моя жена нашла старичка, бывшего приказчика и шапочного мастера, которому было тогда 87 лет. Когда он пришел ко мне в комнату, мы просидели с ним часов восемь! Он открыл мне какую-то сказку Екатеринодара. Это было поэтическим толчком, который лежит в основе всякого замысла. У писателей, таких как я, замысел всегда зарождается с поэзии, какого-то волнения душевного, грёз даже. Мы всё больше общались: он мне много рассказывал, я все больше зачаровывался Екатеринодаром. Потом я пошел в архив, ходил по станицам, и в городе я встречался с детьми бывших офицеров, которые уцелели. Уцелели благодаря тому, что уехали работать на Север. Они уже были советские люди, работали, жили нормально, но они никому не были нужны, ни одному журналисту, ни одному писателю, ни-

кому! О них нельзя было говорить, да и не нужно, наверное, было говорить. Мне было жалко их. Не только потому, что о них не говорили, а потому, что одинокие почти все были. Милые, чудесные, которые любили свое старое, прошлое, отцов своих, дедушек, бабушек.

Они мне кое-что рассказывали, но им это было не очень легко, потому что некоторые боялись. Казаки особенно боялись, и по сей день еще, когда казачество стало возрождаться, у некоторых отцы и бабушки говорят: «Зачем вы надели черкески? Вас сейчас всех заметят, потом переловят, и всё...» Всё-таки оставался в них этот страх. А я ходил по станицам, ездил, расспрашивал. Были чудесные откровения, конечно. Главным образом, это то, что я и судьбу чувствовал, и характер, а для меня характер — это всё. Я влюблялся во многих людей, мне хотелось их запечатлеть. Насколько я сумел, я это сделал. Для меня это важно!

Я не периначивал, не перечеркивал историю, как это было в то время, нет! Я взял всем известный фон и без всяких комментариев показал, как прошла жизнь человеческая. Я настаиваю, что я написал не о казаках, а о том, как проходит жизнь человеческая вот в такую трагическую пору.

В основе всегда, конечно, лежало поэтическое чувство. Это чувство, которое рождала моя душа. И горькое, и грустное, и высокое оно было. Вот так я начал писать «Наш маленький Париж». Я очень много сидел в архиве, много накопал, а вошло из этого немножко. Мне казалось, что вот-вот я доберусь до такого музыкального звука, что сразу же напишу роман. Я очень увлекался, когда находил «сок» в разговоре, ведь «сок» в произведении — очень важен, оно должно быть «сочным». Но главное — хотелось создать характер. А поскольку всё-таки я жил при Брежневе и жил в Краснодаре, где меня 15 лет не печатали, то меня мотало, как в вагоне человека мотает, когда быстро идет поезд и поворачивает где-то. Конеч-

но, у меня кое-что не получилось, и не до конца я написал так, как надо было, потому что писать об этом надо очень пронзительно. Нельзя просто почерпнуть оттуда факты типа: «А мы знаем эту улицу». Нет, это не то. Произведение на такую горькую тему о людях, которые потерпели крушение в жизни, должно быть пронзительным. Ну как смог, так написал.

Теперь я, конечно, кое-что усилил бы, но ничего бы не изменил! Там нет фальшивых слов, хотя я писал в СССР. Но я не собирался мстить советской власти, для меня главное было — запечатлеть этих людей правдиво: посочувствовать им, пожалеть, погоревать вообще о том, что случилось с нашим народом, с нашей Россией.

Я считаю, что царская Россия была одной из величайших держав в истории человечества. Это была прекрасная, дивная страна, которую оболгали, и продолжают это делать. Схватятся, например, за какой-то голод и начинают везде говорить: «Вот она ваша Россия!» Нет! Это была замечательная страна, и к концу XX века, если бы ничего не случилось, если бы хребет не был переломан, то, конечно, о том, о чём мы думаем сейчас, мы бы не думали. Каковы были бы нравственные вопросы, этого я не знаю. Тут трудно сказать. Сломалось бы что-то или нет — не знаю. Но какие типы исчезли, какие могучие дубы исчезли в нашей стране... Просто мне жалко всё это! Оттого мой любимый рассказ Бунина — «Несрочная весна». Советую всем почитать. Там так оплакана эта великая страна!..

А.К.: Я, беседуя с Вами, переживаю эти редкие минуты человеческого счастья. Хочу сказать (нисколько не лукавлю), что Вы необыкновенно мужественный человек. Как Вам удастся держаться в этом состоянии? Что все-таки Вас держит?

В.Л.: Мать, бабушка. Они мне поставили голос. Может, все-таки излишняя любовь к литературе была, вот она и держала. Потом

круг людей, в который я попал. Это правда был круг сильных мужественных людей: Шукшин, Абрамов, Белов уже печатался, потом пришёл Распутин, он позже остальных пришёл. Вот мы как-то и держались друг друга. Одни были уже очень большие писатели, другие — поменьше. Но это были люди одного ряда. Это всё были честные, порядочные люди, которым тоже нужно было кормить семью. Но они никогда хвостом не виляли. Никогда!

Я просто жил тем, что я люблю. Вот и всё. Да, меня в Краснодаре не печатали 15 лет, но зато меня Москва печатала, потому что не посмели бы меня не печатать. Я был уже более-менее известный. А тот круг друзей никогда бы не дал в обиду. Поэтому были нервные срывы, может быть, обиды... Потому что живешь, как кулик на болоте, — всегда один. Но главное всё-таки то, что никакого мужества не надо было (мне, по крайней мере). Делал то, что любил. Писал только о том, что мне нравилось. То, к чему душа не лежала (например, газета «Правда» мне всё время предлагала очерки писать), я и не писал! Я мало написал, очень мало, потому что писал только о том, что люблю.

А.К.: Как чудно говорят Ваши герои: это смесь украинского, русского и, Бог знает, еще каких языков Северного Кавказа.

В.Л.: Там только намек, что это на Кубани. Я буквально же не пишу на украинском! Там только маленький намек, потому что литература в России должна быть только на русском.

А.К.: Ваш сибирский «чалдонский говор» вступал в какие-то противоречия, когда Вы оказались на Кубани? Там же люди совсем иначе говорят.

В.Л.: Я как-то легко перенимаю интонации, слова. Думаю, что языки давались бы мне легко, но я только один французский сам изучал. И поэтому мне не представлялось трудным читать тексты, если они написаны на украинском языке. А кроме того, у меня матушка из

Воронежской губернии и бабушка. Они переехали от голода и «забалакали» в Воронежской губернии. Вот в селе Елизаветино, там балакали по-хохлацки. Кроме того, мне прислал из Чернигова (мой однофамилец) письмо лет 15 назад. Он объяснил мне, откуда наша фамилия «Лихоносов». Не от носа, нет. Лихо несли люди, то есть тяжело было, и они бежали куда-то туда, под Воронеж. Лихо как тягость, как беда, как горе, понимаете? Поэтому всё это было нетрудно, но ведь главное не в этом. Главное — чувствовать характер человека, судьбу его. Хотя украинский язык очень образный.

А кроме того, в то время мало кто на Кубани говорил на малороссийском. Может, где-то в хатах, которых я не знал, но в обществе, в станциях — нет, тем более в школах, это прошло. Атаман (Громов) — может, но я с ним разговариваю на равных. Он иногда дурачится, а так — на русском говорит. Дело не в этом, конечно. Язык важен. Я писал на русском, но это не главное. Нужно почувствовать то, что ты чувствуешь утром. Я говорю о тонкостях. Какие иногда открываются человеку утром невысказанные слова. И он все-таки не сможет это высказать. Но подойдет человек после сна к окну, и только он один знает, как почувствовал этот

мир и самого себя в нем, или судьбу свою, или детей своих. Вот такое когда почувствуешь, тему и характер, тогда будешь писать. Вот наши писатели, в том числе Шукшин, Распутин, Белов и другие, вот они — такие, душевно-чуткие.

Последние два рассказа Распутина — «Изба» и «На родине» — как раз подчеркивают, какая тонкая душа в чувстве...

Всегда кто-нибудь в литературе появляется, у нас в России по-другому не может быть. У нас рождается нужда в большом великом русском писателе. Народ так много пережил, что он, сам того не замечая, вытолкнет из своей среды писателя, который всё о народе расскажет. Так было, и так будет! Ничего случайного не происходит. Ребята, жившие в деревнях, — их учили простые учителя. Потом они учились в простых университетах. И какие они стали, какими замечательными большими писателями, и ещё что будет...

Будем надеяться, что появится мальчик, который потом станет великим мужем литературы. Всё, что происходит, не может быть на том уровне, когда на прилавках продают все эти детективы, примитивные романы, грязь. Это не для нас. Это для тех, кто книги не любит читать. А ■то любит читать, тот ждет родного писателя.



С мамой, 1962



У Юрия Казакова, Абрамцево, 1970



В. Лихоносов с героями «Брянских», 1974



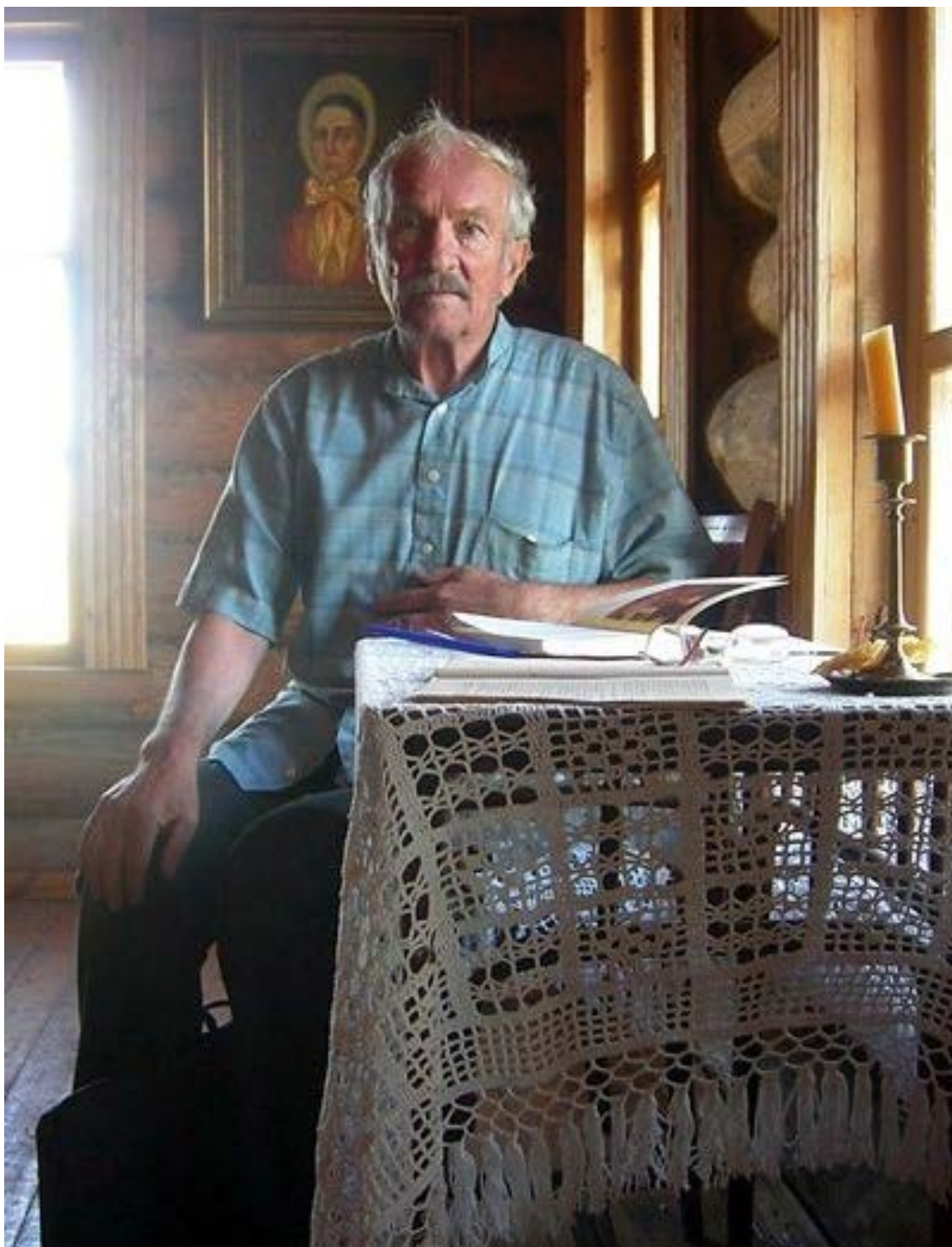
Ю. Томашевский, В. Лихоносов, Ю. Домбровский



Русское кладбище под Нью-Йорком, 1990



Татьяна Андреевна Лихоносова, 1957



В доме Бунина, Озёрки, 2010



Лихоносовская конференция на журфаке КубГУ, 2017



Лихоносовская конференция на журфаке КубГУ, 2017

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ







ИГОРЬ СИРИЦА

Родился в 1961 году в Краснода-
ре. Кандидат юридических наук.
Автор публикаций
по историко-правовым аспектам
деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб
Кубанской области.
Живёт в Краснодаре.

РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ НА КУБАНИ

Люди старшего поколения помнят, какой магический эффект произвел многосерийный телевизионный фильм «Рожденная революцией», стартовавший в эфире телевидения 10 ноября 1974 года в День советской милиции. В течение десяти вечеров улицы всех городов Советского Союза пустели и жизнь замирала: народ усаживался перед экранами телевизоров и внимательно следил за перипетиями напряженного, захватывающего сюжета. Это был один из первых в СССР «сериалов», посвященных зарождению и развитию рабоче-крестьянской (позднее — советской) милиции, охватывающий период, начиная с осени 1917-го и вплоть до 1970-х годов. На Кубани этот процесс хронологически отличался (милиция образована на три года позже), что было вызвано Гражданской войной: край стал местом ожесточенных боев и сражений, а его столица Екатеринодар переходила из рук в руки...

Весной 1920 года, после занятия Красной Армией Екатеринодара и Новороссийска и окончательного воцарения советской власти, 29 марта была образована Кубано-Черноморская область. В этот период большевики приступили к формированию местных органов власти и рабоче-крестьянской милиции. 3 апреля начал свою деятельность подотдел милиции Отдела управления Кубано-Черноморского областного Ревкома (как центральный аппарат областной милиции) во главе с 25-летним Григорием Самуиловичем Иденбаумом, который руководил милицией месяц, до начала мая. Первый начальник областной милиции окончил 6-классную гимназию, служил на заводе и работал «по сельскому хозяйству»; будучи мобилизован, до

мая 1917 года воевал на фронтах, как было принято говорить в советское время, империалистической войны; член РКП(б); в Гражданскую — комиссар 3-й бригады 8-й дивизии и инспектор Политического управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. За короткий период пребывания в должности Г.С. Иденбаумом были разработаны штаты областной милиции и замещены вакансии в областном аппарате. В это время в состав подотдела входили следующие подразделения: 1) Обще-административное отделение; 2) Уголовно-розыскное; 3) Отделение снабжения; 4) Инструкторское; 5) Культурно-просветительное; 6) Временное — «по регистрации нетрудового элемента и отправки его на принудительные работы». Всего же штат подотдела составлял 20 человек. 10 апреля он был преобразован в Отдел милиции Отдела управления Ревкома, а позднее — в Управление рабоче-крестьянской милиции Кубано-Черноморской области.

6 мая на посту руководителя областной милиции Г.С. Иденбаума, убывшего служить Тюменским губпродкомиссаром, сменил Николай Игнатьевич Московский. Он родился в крестьянской семье в деревне Конюшино Панфиловской волости Рыбинского уезда; в 1912 — 1914 годах работал грузчиком в Рыбинске, а в 1914 — 1916 годах участвовал в империалистической войне; большевик, с августа 1918 — по февраль 1919 года являлся председателем исполкома Рыбинского совдепа. Он продолжил осуществлять строительство органов областной милиции до 21 июня. В этот день на внеочередном заседании Кубано-Черноморского областного комитета РКП(б) было предложено

областному Ревкому отозвать Н.И. Московского от должности начальника областного управления милиции на должность заместителя председателя Кубано-Черноморской ЧК, а на его место назначить Федора Федоровича Кондратьева, старого большевика. 23 июня Ф. Ф. Кондратьев стал руководить областной милицией, но, не успев проработать и месяца, 12 июля был откомандирован в Наркомат внутренних дел. Подобная чехарда в руководстве была не только в органах милиции Кубани после установления советской власти в регионе. В тот же день, 12 июля, четвертым по хронологии руководителем областной милиции стал Иван Григорьевич Дудин, как и все трое его предшественников, ранее никакого отношения к охране общественного порядка и борьбе с преступностью не имевший...

Иван Григорьевич Дудин родился в 1889 году, из крестьян Ярославской губернии; в 1910 году призван на Балтийский флот. За участие в эсеровских кружках в 1914 году переведен в штрафную роту на Каспийский флот. В 1918 году член, затем председатель исполкома Майкопского отдела Кубанской области. В феврале 1919 года назначен комиссаром в формировавшийся в Астрахани партизанский отряд Д.П. Жлобы. В июне 1919 году на баркасе «Встреча» прибыл в Баку. Вскоре вернулся в Астрахань и назначен комиссаром охраны железных дорог 11-й Армии. Был лично знаком с видными деятелями большевистской партии Серго Орджоникидзе и Сергеем Мироновичем Кировым. После окончания Гражданской войны работал в органах милиции и ЧК, в отделах управления Ростовского и Киевского исполкомов, потом — на хозяйственных должностях: был директором опытного авиационного завода ЦАГИ (1927 — 1928), участвовал в строительстве Днепрогэса. В 1933 году окончил Академию внешней торговли, затем работал заместителем руководителя «Техноэкспорта»; в 1936 году заболел, в силу

чего ему «было запрещено вести ответственную работу». В послевоенный период — персональный пенсионер союзного значения. Автор нескольких воспоминаний, хранящихся в архивах Адыгеи и Азербайджана, а также в Российской государственной библиотеке. Ушел из жизни после 1966 года.

Иван Григорьевич Дудин оставался на посту начальника Управления Кубано-Черноморской областной милиции вплоть до осени 1920 года. Об этом периоде своей жизни он оставил воспоминания, написанные в 1965 году и ныне хранящиеся в Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 448. Л. 1-54). Мемуары И.Г. Дудина можно условно разделить на две составляющие: во-первых, в них отражены проблемы реформирования областной милиции — комплектование кадрами и укрепление всех звеньев аппаратов управления (областного, городского и районного), включая так называемую «чистку» личного состава, а во-вторых, в воспоминаниях рассматриваются организационные аспекты противостояния врангелевскому десанту на Кубани в августе 1920 года. Указанные мемуары в качестве колоритного нарративного источника, несмотря на ярко выраженный характер отображения некоторых базовых советских догм с соответствующими дефинициями, представляют огромный интерес как взгляд высокого милицейского начальника на имевшие место в истории Кубани события. При подготовке к публикации аутентичный стиль и правописание оригинала сохранены, явные ошибки исправлены без оговорок.

Автор публикации выражает глубокую признательность сотрудникам Государственного архива Краснодарского края за оказанную помощь и содействие: руководитель — Станислав Григорьевич Темиров, главные специалисты отдела ИПС и использования архивных документов — Светлана Анатольевна Зайцева и Виталий Юрьевич Петренко.

И.Г. Дудин.

Воспоминания об организации Кубано-Черноморской областной рабоче-крестьянской милиции в 1920 году

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1920 год для Северного Кавказа и Закавказья был годом разгрома Белой армии. Весна 1920 года принесла победу Красной Армии. В последних числах марта Кубань была освобождена от регулярной Белой армии. Борьба шла с отдельными бандами, укрывшимися в горах и плавнях.

27 апреля 11-я Армия перешла в наступление на Баку и 28 апреля ее бронепоезда под командованием Михаила Ефремова¹ и военного комиссара Ивана Дудина молниеносным ударом (такова была задача, поставленная Реввоенсоветом 11-й Армии) прошли с боями расстояние от Дербента до Баку. В ночь на 28 апреля бронепоезда заняли Баладжары и под утро — станцию Баку. Власть мусаватистов пала. На вокзале нас приветствовали представители Ревкома при огромном стечении народа. Через три дня пришла Красная Армия.

Торжественно, с небывалым воодушевлением, граждане Баку вместе с Красной Армией отпраздновали 1 мая 1920 года. За героический поход бронепоездов тринадцать человек были награждены орденами Красного Знамени, в том числе М. Ефремов и И. Дудин. Последние, кроме орденов, были награждены адресами от бакинских рабочих. Адреса были украшены бриллиантами и золотыми гербами с факсимиле всех наркомов первого Азербайджанского Советского правительства.

Во второй половине мая 1920 года меня и начальника бронепоездов вызвал к себе член РВС Юго-Восточного фронта Серго Орджоникидзе. Выслушав рапорт Ефремова, Серго пригласил нас к столу. Порывшись в папке, он подал мне

телеграмму за подписью Яна Полуяна² и Коробкина³, где говорилось, чтобы Серго отпустил меня в распоряжение Кубано-Черноморского Ревкома.

Прочтя телеграмму, я положил ее на стол. Орджоникидзе в упор спросил:

— Ты писал?

Получив отрицательный ответ, он задумался:

— Война в Закавказье еще не окончена, враги собирают силы... Как ваше мнение, Михаил Григорьевич, есть подходящая замена?

Ефремов, как всегда, покраснел от неожиданности, встал, взял под козырек и отпраповал:

— Незаменимых нет, товарищ член Реввоенсовета Южфронта. Хотя будет очень жаль: мы с комиссаром очень сработались, на полуслове понимаем друг друга.

— Ну хорошо, оформляйся... На Кубани очень нужны работники, — сказал мне Орджоникидзе.

*** * ***

Краснодар — это зеленый город. Его центральные улицы, парки, скверы и сады утопали в яркой и пышной зелени.

Оставив несложный багаж в гостинице, я направился посмотреть Краснодар, подышать свежим, бодрящим воздухом. На душе было спокойно и радостно. Яркое светило солнце, но я его не замечал. Меня от горячих лучей защищали могучие деревья, затеняющие тротуары улиц. Шагая по тихим зеленым улицам, я думал: «Что ждет меня? Какая будет предложена работа? Буду проситься в Майкоп, где в 1918 году я был председателем Майкопского отдельского исполкома».

Через два дня я был приглашен к председателю Кубано-Черноморского ревкома. Ян Полуян встретил меня радушно. Он справился, как я устроился и нравится ли мне город. Я поблагодарил его за заботу и ответил:

— Город мне очень нравится.

— Это очень хорошо, что вам наш город нравится. Мы вас намеряем назначить начальником областной милиции. Как вы на это смотрите?

Такого предложения я никак не ожидал, молчал, не зная, что мне ответить. Полицию я ненавидел, и в моем понимании милиция отождествлялась с полицией.

Полуян, откинувшись в кресле, внимательно следил за мною и ждал ответа, а я, волнуясь, напряженно думал: «Принять предложение или отказать?» Я попытался представить себя в роли начальника Кубано-Черноморской милиции и пришел к отрицательному выводу — на этот пост я не гожусь.

Я встал, взял под козырек и сказал:

— Принять ваше предложение не могу, ибо у меня нет к тому никаких данных, и вообще я полицию всегда ненавидел за ее зверские расправы с народом. Я и сам немало испытал на своей шкуре!

Выпалив все это единым духом, мне стало как-то легче, и я сел.

Пройдясь несколько раз по кабинету, Полуян повернулся ко мне, пододвинул поближе кресло, сел.

— Надо нам поговорить по-серьезному. То, что Краснодар понравился, — начал Полуян, — это очень хорошо, и что ты ненавидел полицию — это тоже хорошо. А вот то, что ты отказываешься — это нехорошо. Я думаю, что это сказано горяча. Ссылка твоя на отсутствие данных, чтобы занять такой высокий и ответственный пост — это, по-моему, недооценка своих способностей и сил. Ты, прежде всего, большевик. Питерский рабочий. Военный моряк Балтийского флота. Прошел большую революционную жизнь. На груди красуется боевой орден Красного Знамени. Орджоникидзе и Киров дают

о тебе хороший отзыв, я вчера разговаривал с ними по прямому проводу⁴. Перед Ревкомом стоит вопрос: кому можно доверить нашу народную милицию? Наша рабоче-крестьянская милиция не должна быть похожа на полицию. Полиция защищала царя и буржуазию, а наша милиция должна быть верным стражем завоеваний революции. Вот эту почетную работу Ревком предлагает тебе.

Седьмого или восьмого июля (твердо не помню) на заседании Ревкома Полуян огласил мою краткую биографию и предложил утвердить меня в должности начальника Кубано-Черноморской милиции. Мне были заданы вопросы, на которые я коротко, по-военному ответил. Я был единогласно утвержден.

* * *

Получив мандат и постановление Ревкома, я направился в помещение областной милиции.

Трудно передать то душевное состояние, которое охватило меня. Дойдя до Городского сада, я присел отдохнуть. Достал из кармана мандат и вновь прочел, что «предъявитель сего тов. Дудин И.Г. является начальником Областной Кубано-Черноморской милиции», что «ему разрешается хождение по городу днем и ночью», что «предъявитель сего имеет право носить огнестрельное оружие, а также пользоваться прямым проводом. Советским органам предлагается оказывать всемерное содействие, что подписями и печатью удостоверяется».

С чего же буду начинать? С кем-бы посоветоваться? С сегодняшнего дня я уже не бывший матрос и не комиссар, а начальник Кубано-Черноморской милиции. Большой пост налагает на меня и большую ответственность. Как сейчас нужна мне помощь разумным советом! Я задумался.

— Что так задумался, Дудин? — раздался знакомый голос.

Я вскочил. Передо мной стоял Георг Атарбеков⁵ — чрезвычайный уполномоченный ВЧК.

Атарбекова я хорошо знал как по Северному Кавказу, так и по обороне Астрахани, где он был предгубчека. Впервые с Атарбековым я познакомился в Майкопе в 1918 году, в трудные дни гражданской войны на Кубани.

— А ну выкладывай, как у тебя дела идут в милиции?

— Пока никак — сегодня только что получил постановление и мандат на управление милицией.

— Ну и что дальше?

— Не знаю, с чего начать, — признался я.

— Хорошо, садись! — пригласил меня Атарбеков на скамейку.

Я был на седьмом небе. Как я раньше не подумал обратиться к Георгу? Я знал, что Атарбеков имеет юридическое образование, старый коммунист и хороший товарищ. Он, как никто другой, поможет мне советом.

Атарбеков, как будто прочитал мои мысли и сказал:

— Это хорошо, что я тебя встретил, а то бы ты, наверное, не пришел ко мне. Нельзя забывать друзей, — как бы с упреком заметил Атарбеков. — Прежде всего, тебе надо по акту принять милицию.

— Как это? — спросил я.

— Составь комиссию и дай распоряжение, чтобы аппарат составил приемо-сдаточный акт, в котором должен быть отражен весь наличный состав милиции. Потребуй списочный состав управления милиции. От заведующего снабжением получи письменные сведения о наличии имущества. С этого давай начинать. Затем подумай о неотложных мероприятиях. Созови совещание и обсуди свои планы, но с этим не спеши, хорошенько разберись, подумай, заглядывай ко мне.

Беседа с Атарбековым воодушевила меня, дала мне веру в себя. Главное — начало мне стало ясным.

Поднявшись на второй этаж, я на один миг остановился возле двери начальника областной милиции. Одернул гимнастерку, поправил ремень, стукнул два раза в дверь, смело отворил

ее и... остановился от неожиданности. Большая комната была полна табачного дыма. На кожаном диване в свободных позах сидели, вернее, полулежали трое мужчин. На одном углу письменного стола, в небрежной позе, сидела крашенная женщина, курила и что-то весело рассказывала. На другом углу стола, схватившись за живот, в полу-лежащей позе хохотал какой-то рыжий человек. За столом в небрежной позе сидел, видимо, начальник. Я продолжал стоять, пока на меня не обратили внимание. Женщина с папироской первая заметила, так как она сидела лицом к двери. Как только меня заметили — все сразу стихло.

— Кто здесь начальник милиции?

— Я начальник милиции, — ответил сидевший на диване.

Женщина прыгнула со стола и направилась в другую комнату. Как потом оказалось, это была секретарь областной милиции. Из-за стола вышел мужчина средних лет, его место занял человек среднего роста, ничем не примечательный.

— Что вам угодно? — спросил он, усаживаясь в кресло.

Я не спеша сел на стул, так же не спеша достал решение Ревкома и подал ему вместе с мандатом. Он долго рассматривал поданные документы, видимо, обдумывая свое положение. Я встал, подошел к окну, попробовал — не открывается. Два окна, выходящие во двор, открылись. Пока я открывал окна, комната опустела, лишь старший инспектор милиции — рыжий мужчина — остался помогать начальнику.

Когда я вернулся на свое место, начальник милиции обратился ко мне:

— Я очень рад, пожалуйста, садитесь на мое место, — он встал. — Вот вам печать, ключи от письменного стола, давайте расписку.

— Вы мне сдадите милицию по всей форме!

— Я ни от кого и ничего не принимал и мне сдавать нечего.

— Я дам распоряжение аппарату, чтобы подготовили акт сдачи, — с этими словами я взял печать, ключи и сел за стол на свое новое место.

НАЧАЛО РАБОТЫ В МИЛИЦИИ

Два дня я знакомился с работой. Оказалось, что работника по кадрам нет, и что принимали на работу в милицию по личному опросу и зачисляли на основании резолюции начальника.

Первые дни моей работы в милиции я не вылезал из-за стола. Ознакомление с работниками аппарата началось по списку. Беседовал я со всеми работниками до дежурных милиционеров включительно. С начальниками я беседовал обстоятельно, на этот счет у меня был приличный опыт⁶. Каждого опрашивал, откуда он родом, живы ли родители, чем они занимаются, как он лично живет, каково его семейное положение, нравится ли ему работа в милиции и, наконец, каковы будут его пожелания по улучшению работы милиции.

С рядовыми милиционерами у меня был иной разговор. Кроме биографических данных, я спрашивал, как он живет, доволен ли он своей службой. Все, с кем пришлось беседовать, указывали на плохую дисциплину. Нет надлежащего порядка: не знаем, куда направлять задержанных, не знаем точно наших прав, один начальник говорит одно, а другой — другое. Один милиционер, член партии, сказал, что народ недоволен милицией, много примазалось жуликов, надо что-то делать.

Работники аппарата областной милиции произвели на меня плохое впечатление. Начальник снабжения, бывший штабс-капитан интендантской службы, явно чужой человек. Разговор с ним был тяжелым. Биографические данные пришлось буквально вытягивать. Два раза я поймал его враждебный взгляд, как бы взвешивающий, с какой стороны ему нужно меня опасаться. Старший инспектор враждебно относится к советской власти. Когда я ему предложил дать свою оценку милиции, он сказал, что милицией руководят безграмотные лица, что в милицию набран сброд. Секретарь, накрашенная молодая женщина, внешне производила невыгодное для себя впечатление. Но на мои вопросы она отвечала

толково, видно было, что человек она не глупый. Она дала верную характеристику руководящему составу милиции: «От них надо вам как можно быстрее избавиться».

Через неделю, а возможно и больше, рано утром ко мне постучали, я открыл дверь, вошел человек. Оглядевшись кругом и видя, что мы только вдвоем, он сказал:

— Я агент по снабжению, имею доложить вам очень важное.

Он с опаской посмотрел на дверь. Видя его беспокойство, я встал и запер дверь.

— Садитесь, товарищ! — жестом показал ему на кресло и сам сел с ним рядом. — Рассказывайте, а главное — не волнуйтесь.

Мой странный посетитель глубоко вздохнул, как будто снял с себя большую тяжесть:

— Я, товарищ начальник, с первого дня вашего прихода в милицию все рвался к вам зайти, но у вас всегда народ, а я боялся.

Передо мной сидел человек в поношенной гимнастерке, в бумажных стареньких шароварах и ботинках с обмотками. Видно было, что живет человек бедно, однако все на нем было чистое, опрятное. Наружность его была неказиста: небольшого роста, волосы рыжеватые, лицо все в веснушках, зато глаза были живые, в них светился ум. Мы с ним познакомились, он отрекомендовался Серегиным Михаилом Ивановичем.

— Теперь рассказывайте, Михаил Иванович, что вас привело ко мне?

— Дело в том, товарищ начальник, в снабжении у нас неладно: начальник снабжения — беляк. Прошлый месяц мы получили немного армейского обмундирования, продовольствия и вооружения, но добрая половина ушла неизвестно куда. К начальнику снабжения часто ходят очень подозрительные личности. Больше бывшие офицеры, изредка бывают и казаки. Он очень дружен со старшим инспектором. Вчера получили оружие и продовольствие — примите меры.

Все это Серегин выпалил разом и теперь сидел, пытливо, с робкой надеждой смотрел на меня.

— Вы, Михаил Иванович, большевик? — задал я ему вопрос.

Он густо покраснел и, смущаясь, ответил:

— Нет, товарищ начальник, я не большевик. Заявление написал, но не хватает одной рекомендации.

— Работай честно, укрепляй советскую власть, рекомендацию в партию дадим! То, что вы мне рассказали, очень важно, и мною будут приняты срочные меры.

* * *

Положение в милиции требовало неотложных мер. Что у меня намечено на сегодня? Я заглянул в шестидневку: в два часа доклад начальника гормилиции.

Позвонил на квартиру Атарбекову, он оказался дома.

— Ну как идут дела с милицией? Какие трудности? — спросил Атарбеков.

— В ходе работы встретились такие вопросы, о которых надо срочно с тобой переговорить.

— Хорошо. Ты будешь сегодня на заседании Чрезвычайной Комиссии?

— А зачем? — спросил я.

— Как зачем? Ты же по положению являешься членом Коллегии отдела управления Чрезвычайной Комиссии, ты должен быть на всех ее заседаниях. Так вот, там мы и встретимся. Приходи в пять часов вечера в ЧК.

ГОРМИЛИЦИЯ

Ровно в два часа пришел начальник городской милиции Шипулин⁷ и привел с собою начальника штаба — он же зам. начальника гормилиции — Майборода⁸, двух начальников районной милиции (один из них был Ковш⁹, а фамилию другого не помню), привел с собой и начальника снабжения Хаспекова¹⁰.

Шипулин, невысокого роста, плотного сложения, подошел ко мне с кратким рапортом. Пожимая руку Шипулину, я внимательно посмотрел на него. Передо мной стоял простой ра-

бочий в штатском костюме. Его смущенный вид говорил, что он еще не освоился и не осознал своей большой роли в охране областного центра. Иной вид имел его заместитель — Майборода, подтянутый, в военной черной гимнастерке добротного сукна, перетянутой кавказским ремешком с серебряной отделкой, складно сидевшей на нем. Он щелкнул каблуками, представился. Не успели мы разместиться, как пришли приглашенные мною представитель уголовного розыска: начальник угрозыска Прокофьев и старший инспектор Хантин¹².

Доклад сделал Шипулин. Он сказал, что городская милиция находится в организационном периоде. Временное штатное расписание, утвержденное Ревкомом, мы еще не заполнили. Нам разрешили, учитывая тяжелую обстановку, шестьсот милицейских единиц. На сегодняшний день мы имеем две трети. Самым безотрадным является отсутствие единого милицейского обмундирования. Мы вынуждены принимать в милицию тех, кто мало-мальски обмундирован и уже во вторую очередь выясняем его политическое лицо. Население города отличает милицию от прочих граждан только по оружию, но и оружия, винтовок и берданок, на все посты не хватает. На сегодняшний день милиция имеет плачевный вид. Областная милиция неизвестно чем занимается, но помощи от Главмилиции¹³ никакой нет, кроме циркуляров ничего не получаем. Состояние милиции на сегодня плохое.

С докладом по строевой линии выступил Майборода. Он сказал, что при гормилиции имеется постоянный резерв, с которым проводятся еженедельные строевые занятия. По районам занятия еще не налажены. Плохо обстоит дело с инструктажом о правах и обязанностях милиционеров.

С критикой в адрес гормилиции выступил начальник уголовного розыска Прокофьев. Он указал, что некоторые милиционеры, да и начальники районов, занимаются поборами на базарах. Был случай, когда ограбили кооперативный магазин, в ограблении участвовал милиционер.

— В каком районе? — спросил Ковш.

— В городском, — ответил Хантин.

Затем слово взял старший инспектор областной милиции. Он сказал, что милиция представляет собой сброд, никакой воспитательной работы не ведется. О дисциплине — пустые разговоры, никакой дисциплины нет, да и сам начальник городской милиции едва ли понимает, что надлежит делать.

Наше первое собрание с докладом начальника гормилиции было самокритичным и полезным, особенно для меня, как нового человека в милиции. Критика со стороны Прокофьева была здоровой, правильной и поучительной.

ЧК

Ни минуты опоздания! Таков мой девиз!

Я ровно в пять часов вечера был в кабинете председателя ЧК. Котляренко встретил меня радушно:

— Здравствуйте, товарищ Дудин, очень рад с вами познакомиться!

Пожимая мою руку и задержав немного в своей, он зорко, через пенсне, оценивающе смотрел на меня. Передо мной стоял среднего роста мужчина, рыжий, худой, с приветливым и осмысленно-серьезным лицом. На вид ему было не более 33-35 лет. Мы стояли посреди большой комнаты, держа меня за руку, он повел меня к столу.

— Знакомьтесь, пожалуйста. Это секретарь ЧК товарищ Павлов, а это член коллегии Виноградов¹⁶.

Я поздоровался.

— Это новый начальник областной милиции товарищ Дудин Иван Григорьевич, — сказал Котляренко.

Мне они показались очень молодыми — как Павлов, так и Виноградов. Им можно было дать от силы года 23-24. Виноградов для солидности курил трубку.

Не успели мы присмотреться друг к другу, как в комнату вошел Атарбеков. Котляренко встал и пошел ему навстречу. Мы тоже встали.

— Здравствуйте, товарищи! — он быстро пожал нам руки. — Продолжайте, пожалуйста, а Дудина я заберу. У меня с ним серьезный разговор, — сказал Атарбеков.

Пройдя по коридору, мы очутились в другой части большого дома. Секретарь Мирзабекян сообщил, что из Ревкома звонили и приглашали завтра на заседание в два часа дня.

— Садись, товарищ Дудин, рассказывай, что нового и как идут дела. Принял милицию?

Я рассказал Атарбекову, что областной аппарат принял по акту, однако каково количество милиции по области — никто сказать не может. Вызывал всех работников по списку и с каждым беседовал. Впечатление плохое, опереться не на кого. Надо принимать срочные меры. Был заслушан доклад начальника гормилиции Шипулина. Городская милиция полностью не укомплектована, но аппарат подобран неплохой.

— Товарищ Шипулин, мне думается, слаб для такого большого поста.

— Еще что? — спросил Атарбеков.

Я коротко рассказал о приходе агента по снабжению, упомянул и о том, что мною дано задание Серегину наблюдать и немедленно информировать меня о действиях начальника снабжения.

— Будь спокоен, меры будут приняты, — сказал Атарбеков. — Теперь послушай то, что я расскажу. Это большой секрет. Никому, понял?

Я утвердительно кивнул головой.

Понизив голос, Атарбеков сказал:

— Я имею достоверные сведения, что в Крыму барон Врангель готовит на Кубань большой и серьезный десант из самых отъявленных головорезов. Готовь милицию, укрепляй аппарат, времени осталось очень мало. Шипулин хороший парень, наш человек. Ты его не тронь. Получше присмотрись и помоги ему. Как встретятся трудности, обязательно приходи, буду рад помочь.

* * *

Заседание ЧК началось ровно в шесть. На нем присутствовали: председатель Котляренко, члены Виноградов и Волков, от отдела управления

Ревкома — Каплан¹⁹, от областной милиции — Дудин, секретарь Павлов.

Собрание прошло быстро. На повестке дня было два организационных вопроса. В семь часов я уже был дома. Жена и двухлетний сын Борис ждали меня к обеду.

В первых числах июля начальник снабжения и старший инспектор были арестованы. Спустя несколько дней на докладе начальник гормилиции Шипулин сообщил, что задержал обоз из двух мажар с оружием и продовольствием. Все это отправлено начальником снабжения областной милиции. При обозе арестовано шесть человек, назвавшихся милиционерами. Везли они этот груз по документам для милиции станицы Гривенской. Один из арестованных сознался, что они вовсе не милиционеры, а бандиты, находящиеся в станице Гривенской и близлежащих хуторах.

Операция была проведена так, что ни один бандит не успел оказать сопротивления. Все они были переданы в распоряжение Чрезвычайного уполномоченного Атарбекова.

ТРУДНЫЕ ДНИ

На другой день я пришел на работу раньше обычного (приходил я всегда на час-полтора раньше прихода служащих). Дежурный милиционер дремал в подъезде управления. Я тихо поднялся на второй этаж и, открывая дверь, нечаянно загремел ключами. Милиционер проснулся и забеспокоился. Войдя в кабинет, я открыл окна. Освежающая прохлада ворвалась в комнату. Город еще был объят утренним сном. Я сел у открытого окна и задумался.

Что делать? С чего начать? Вот вопросы, которые беспокоили меня все эти дни. Областное управление, за которое я отвечал, не работоспособно. Откуда взять кадры? Нужны грамотные, советски-настроенные работники. С ними я буду строить новую рабоче-крестьянскую милицию. А где их взять? Да не только предстоит укрепить областной аппарат. На докладе Ревкома Полуян ска-

зал, что надо срочно, не покладая рук, работать над созданием милиции как в центре, так и на местах. События на Кубани могут развернуться быстро, и милиция должна быть готова. В Крыму барон Врангель и вся белая мразь зашевелилась. Союзники ему усиленно помогают. На рабоче-крестьянскую милицию ложится ответственность охранять советские законы и спокойствие граждан, а в некоторых районах бандиты обнаглели.

Передо мной стояли серьезные вопросы: первое — укомплектовать рядовой состав милиции честными, советски-настроенными людьми; второе — добиться в обкоме и горкоме помощи для укрепления рядов милиции коммунистами; третье — укрепить, начиная с областного, городского и районного, аппараты милиции. Откуда взять кадры?

Решено — иду в обком и горком партии к товарищу Лаврентьеву. Буду просить поставить вопрос о милиции на заседании революционного комитета. Расскажу ему, какое положение в милиции. Посоветуюсь с ним о создании авторитетной комиссии для выработки положения о правах и обязанностях как руководящего, так и рядового состава. Об организации кратковременных курсов, через которые надо пропустить весь рядовой состав (обязанности милиционера на службе и в быту). Как быть с руководящим составом? Его надо учить в первую очередь.

Хорошо думается в тишине в погожее летнее утро. После моих размышлений мне стало ясно, что надо делать и с чего начинать. Я не заметил, как прошло время. Ко мне постучали, начался обычный трудовой день.

* * *

В обкоме товарищ Лаврентьев выслушал меня с большим вниманием. Мероприятия, намеченные мною, одобрил. При мне позвонил председателю Ревкома Полуяну. Обращаясь ко мне, сказал, чтобы я подготовил предложения. Вопрос о милиции будет поставлен на Ревкоме. Затем позвонил облвоенкому Дорошеву²⁰ и со-

обшил, что к нему направляется товарищ Дудин, которому необходимо оказать всемерное содействие. Немного подумав, он позвонил командующему 9-й Армии Левандовскому и просил его принять меня.

— Ну, теперь действуй. О работниках аппарата я подумаю, обязательно поможем, — сказал Лаврентьев мне на прощанье.

Шесть дней я потратил на хождение по учреждениям. Был у облвоенкома Дорошева, он обещал помочь. Был и у дружинников, где мне сказали, что через два, максимум три дня, ко мне поступит пополнение. Был у командующего 9-й Армией, он встретил меня как старого знакомого²². Выслушав меня о нуждах милиции, он пообещал мне помочь бывшими строевыми офицерами и из интендантской службы — по снабжению.

Примерно 12-13 июля я был у Атарбекова. Георг с большим вниманием выслушал о моих хождениях. Во время рассказа он одобрительно кивал головою. Когда же я закончил свое повествование, он спросил:

— Ну и как же будем действовать дальше?

— Теперь основным вопросом является создание работоспособного аппарата. Сейчас у меня толкового приказа написать некому.

Атарбеков задумался:

— Как тебе помочь, ума не приложу, у меня таких кадров нет.

Я спросил, в чьем ведении находятся подследственные остатки белой армии и разные чиновники бывшей царской власти.

— Хочешь среди них кого-нибудь найти подходящих?

— Да, я прошу тебя, разреши мне познакомиться с этой частью заключенных?

— Что ж, я ничего против не имею, может, твоя мысль и правильная. Эти люди не все плохи. Особенно, если учесть наше тяжелое время и продолжительность пребывания в лагере для подследственных. Некоторые из них могут стать неплохими работниками. Они службу знают, закончил Атарбеков.

Поездка в лагерь задержалась. Меня на завтра приглашали на заседание Ревкома. Я внимательно прочел повестку дня, где среди вопросов, подлежащих решению, стоял вопрос о милиции. Завтра будет мой доклад о положении Кубано-Черноморской милиции. Надо пригласить начальника гормилиции и с ним наметить то главное, что нужно сделать для улучшения работы милиции.

Надо вместе с Шипулиным составить предложения для утверждения Ревкома. Я взял лист бумаги и сделал краткий перечень вопросов, подлежащих решению: 1) укомплектование милиции; 2) обмундирование; 3) утверждение формы; 4) организация курсов; 5) улучшение быта (питание и общежитие).

Надо подумать о докладе.

В дверь постучали, вошла секретарь и доложила:

— К вам из штаба армии пришли двое военных.

Через минуту передо мною стояли двое. Я их пригласил сесть. Просматривая послужные списки и препроводительные списки Штаба 9-й Армии, я установил, что один из них прапорщик из нижних чинов, произведенный за боевые отличия в войне с немцами 1914 года. Второй был поручик, окончивший Павловское училище, служил по интендантской линии. Я заинтересовался, как они попали в Красную Армию, почему они решили пойти работать в милицию? Какую работу они хотят получить?

В результате длительной беседы поручика я назначил начальником снабжения с месячным испытательным сроком, а второго — инспектором. В тот же день я позвонил Василенко²³, поблагодарил его за заботу о милиции и рассказал о назначении присланных им ко мне людей.

— Что же, я считаю это правильным. Они оба со своими обязанностями справятся, — ответил Василенко.

* * *

На другой день я встретился с работниками гормилиции Шипулиным, Майборода и Хаспекковым. На совещание были также приглашены и вновь принятые начальник снабжения и инспектор облмилиции.

Совещание прошло дружно. Мы быстро со-

гласовали вопросы, которые необходимо поставить на решение Ревкома. Кроме намеченных мною вопросов, Майборода высказал соображения о необходимости просить Ревком создать при милиции конный резерв: при облмилиции — 100 конных, а при городской — 150, из расчета круглосуточного дежурства по 50 человек в смену. Областная конная сотня будет резервом. Предложение было принято. Шипулин сказал:

— А не подработать ли нам вопрос о форме?

Было решение, что этот вопрос не срочный и, кроме того, не знаем, как нам поможет Ревком — его ресурсы невелики. И поэтому ставить такой вопрос не следует, но упомянуть о нем в докладе Ревкому необходимо. Несмотря на это, была создана комиссия по разработке формы милиции. В нее вошли: Шипулин, Майборода и начальник снабжения облмилиции и гормилиции. Комиссии было предоставлено право привлечь художников для наглядного изображения формы.

* * *

Расширенное заседание Революционного комитета, на которое были приглашены представители заводских и фабричных комитетов, представители 9-й Армии, представители штаба Красной Гвардии и многие другие. Собрание проходило в помещении театра. Зал был переполнен.

Товарищ Полуян открыл заседание. На повестке дня три вопроса:

1. О проведении хлебозаготовительной кампании.
2. Об агитационно-массовой работе как среди населения, так и среди войск.
3. О рабоче-крестьянской милиции и текущие дела.

Два первых вопроса заняли много времени, оно и понятно. На Кубани шел сбор богатого урожая. Нужно было добиться сознательного отношения кубанских хлеборобов к хлебозаготовке — так говорили выступающие ораторы.

Было принято большое постановление, где говорилось, что главное и основное в нашей ра-

боте — это успешное проведение хлебозаготовок. Кубань должна отдать все излишки хлеба для голодающих.

С кратким сообщением о состоянии милиции выступил я. Рабоче-крестьянская милиция находится в организационном периоде. Она остро нуждается в кадрах как руководящего, так и рядового милицейского состава. Моя просьба — помочь милиции людьми и экипировкой. В настоящее время милиционера можно лишь отличить по винтовке или берданке, с которой он стоит на посту. Надо найти возможность одеть милицию и утвердить форму.

Начальник гормилиции доложил Ревкому, что для постовой службы не хватает двухсот человек. Необходимо улучшить и расширить милицейское общежитие. Я попросил помочь с хорошим помещением для столовой.

Выступило несколько человек. Все они говорили, что необходимо оказать помощь милиции, а один оратор предложил: «Прежде чем обмундировать людей, надо устроить чистку милиции, а то в нее поналезли всякие проходимцы».

Ревком принял постановление: всем советским органам оказать милиции всемерную помощь. Штабу 9-й Армии, облвоенкомату и рабочим дружинам выделить бойцов для пополнения милиции. Члену Ревкома Коробкину найти возможности одеть милиционеров. Для выработки формы начальнику областной милиции создать комиссию для обсуждения и выработки формы и представить на утверждение Ревкому.

* * *

Решения Кубано-Черноморского революционного комитета оказали свое действие: отовсюду стали приходить желающие работать в милиции. Во второй половине июля 1920 года начальник городской милиции сообщил, что штаты заполнены, а желающие служить в милиции всё прибывают, что будем делать?

— Принимай, организуй резервную роту и начинай учебу. Кратковременные курсы нам разре-

шили, надо через них пропустить всех милиционеров.

* * *

По договоренности с Атарбековым я с заведующим оперативной частью Багдасаровым отправился в лагерь. Комендант²⁴ по нашему требованию принес список временно содержащихся под арестом, и мы углубились в чтение этого списка. После часовой работы наметили для переговоров пять человек. Среди них было двое судей, двое юристов и один председатель Съезда мировых судей.

Не объясняя причин, мы с Багдасаровым начали задавать вопросы намеченным нами арестованным. После обстоятельной беседы с каждым в отдельности, у нас сложилось определенное мнение, что двух из опрошенных можно взять на работу в милицию. Один из них был Червяковский²⁵, бывший председатель Съезда мировых судей Кубани, второй — Воскресенский²⁶, юрист по образованию, работал поверенным какой-то фирмы.

Обменявшись мнением с Багдасаровым и посоветовавшись с комендантом лагеря (он дал о них хороший отзыв), мы попросили вторично пригласить Червяковского и Воскресенского.

Перед нами стояли два совершенно различных человека. Багдасаров объяснил им причину их вторичного вызова.

— Вы, граждане, нами намечены для работы в областной милиции. Требуется ваше согласие.

Воскресенский — высокий здоровяк, с открытым лицом, на вид ему можно было дать лет сорок. Червяковский уже был не молод, лет шестьдесят, немного грузный, с видом усталого человека. На лице Воскресенского отразилась нескрываемая радость, Червяковский же стоял с недоуменным видом. Он никак не ожидал такого поворота в своей судьбе, он ждал худшей участи (крупный чиновник царского времени, дворянин, правда, отказался отступить с белыми).

Видя его замешательство, я сказал:

— Даю вам сутки на размышление. Подумайте хорошенько и, если решитесь работать — только честно работать — вы будете в кругу своей семьи, будете пользоваться уважением советских граждан.

Червяковский посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, затем, сделав несколько шагов к моему столу, схватил мою руку и с полными слез глазами благодарил, беспрестанно повторяя: «Оправдаю ваше доверие, оправдаю!»

В последней декаде июля 1920 года аппарат областного управления милиции был укомплектован. Начальник снабжения оказался работающей: он за короткий срок установил связи со снабженцами облвоенкомата, городской милиции и 9-й Армии. Составил заявки и запросы в разные учреждения. Поступивший на работу в милицию Червяковский был назначен главным инспектором областной милиции, а Воскресенский — на должность секретаря.

Первый приказ мною был подписан в июле, в нем предлагалось всем начальникам районной милиции дать сведения о численности милиционеров и руководящего состава. Главный инспектор представил на утверждение «Памятку» о правах и обязанностях начальников районов, их помощников и инспекторов рабоче-крестьянской милиции. В тот же день Червяковским был представлен план областного совещания начальников районов и инспекторов милиции.

В первых числах августа состоялось совещание руководящего состава областной и городской милиции, на котором были утверждены временные правила двухнедельных курсов для рядового состава милиции, «Памятка» о правах и обязанностях милиционера, и было принято решение провести двухдневные занятия с руководящим составом на тему «Советская власть и задачи рабоче-крестьянской милиции». Была утверждена повестка дня для областного слета, созыв которого был намечен на 10 августа 1920 года.

(Окончание следует)

1. Ефремов Михаил Григорьевич – с 1918 г. в рядах Красной Армии участвовал в Гражданской войне; с января 1919 г. на Кавказском и Южном фронтах: командовал стрелковой ротой, батальоном, полком, бригадой, затем – начальник стрелковой дивизии головного боевого участка железной дороги 11-й Армии, командир Особого отдельного корпуса, отряда бронепоездов.
2. Полуян Ян Васильевич – с января 1920 г. по январь 1921 г. председатель Кубанского ревкома при штабе Юго-Восточного фронта, Кубано-Черноморского областного ревкома, затем облисполкома; член Кубано-Черноморского обкома РКП(б), Кавказского бюро ЦК и Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б); одновременно в июле – сентябре 1920 г. член Реввоенсовета 9-й Кубанской армии.
3. Коробкин Михаил Александрович – с января 1920 г. член Кубанского ревкома при штабе Юго-Восточного фронта, с 29 марта 1920 г. – Кубано-Черноморского областного ревкома.
4. С Орджоникидзе и Кировым я близко был знаком. С Серго – по Северному Кавказу в 1918 и 1919 гг. Я по решению Бакинского Комитета большевиков и самого Орджоникидзе организовал рыбацкую лодку под парусом для переезда из Баку в Астрахань, на которой был матросом, управляя парусом. Тринадцать долгих и трудных дней длился переезд. С Кировым я был знаком по Грозненской нефтяной экспедиции, затем в 1919 и 1920 гг. участвовал в обороне Астрахани, будучи комиссаром охраны и обороны железных дорог 11-й Армии (Примеч. И.Г. Дудина).
5. Атарбеков Георгий Александрович – в 1919 г. председатель Астраханского ЧК, начальник Особого отдела 11-й Армии, председатель Ревтрибунала Южного фронта; в 1920 г. начальник Особого отдела 9-й Армии, полномочный представитель ВЧК на Северном Кавказе.
6. В феврале 1919 года я в первый раз в жизни был назначен комиссаром Штаба батьки Жлобы. Выдавая мне мандат, С.М. Киров говорил: «Комиссарство – дело новое. Комиссар – око партии. Сейчас идет формирование отряда – вот тебе тетрадь, беседуй с каждым и записывай кратко. Это тебе очень пригодится» (Примеч. И.Г. Дудина).
7. Шипулин Родион Терентьевич – с 22 апреля по 25 октября 1920 г. начальник Екатеринодарской отдельско-городской рабоче-крестьянской советской милиции.
8. Майборода Николай Андреевич – с 22 марта 1920 г. младший помощник начальника Екатеринодарской городской милиции; с 22 апреля 1920 г. старший помощник начальника Екатеринодарской городской милиции по внутренней части.
9. Ковш Яков Матвеевич – с 7 мая 1920 г. помощник начальника 1-го района Екатеринодарской городской милиции, затем начальник того же района милиции.
10. Хаспекоев Георгий Петрович – с 23 марта 1920 г. заведующий хозяйством Екатеринодарской городской милиции; с 19 апреля 1920 г. заведующий отделением снабжения Управления милиции Кубано-Черноморской области.
11. Прокофьев С.Г. – с 1 июля 1920 г. начальник Екатеринодарского уголовного розыска; с 23 июля 1920 г. начальник Екатеринодарского городского Уголовно-следственного розыска; с 26 июля 1920 г. начальник Уголовно-следственного отделения Управления Кубано-Черноморской областной милиции.
12. Хантин Александр Николаевич – с 2 июня 1920 г. делопроизводитель Инспекторско-инструкторского отдела Управления Кубано-Черноморской областной милиции, затем старший инспектор.
13. Главное управление милиции (Главмилиция) Наркомата внутренних дел РСФСР существовало в 1918–1923 гг.
14. Котляренко Дмитрий Павлович – с 27 июля 1920 г. по 2 февраля 1921 г. председатель Кубано-Черноморской ЧК.
15. Павлов Иван Данилович – с 27 июля 1920 года член коллегии и секретарь Кубано-Черноморской ЧК, в 1921 году переведен на работу в Батумскую ЧК.
16. Виноградов Сергей Владимирович – с 27 июля 1920 г. член коллегии Кубано-Черноморской ЧК.
17. Мирзабекян Арам Михайлович – с августа 1918 г. в органах ЧК Баку и Астрахани; с января 1920 г. секретарь РВС Отдельной Кавказской армии, Кубано-Черноморской ЧК.
18. Волков Иван Афанасьевич – с 1919 г. председатель Реввоен трибунала 7-й дивизии 9-й Армии, с 1920 г. член коллегии Кубано-Черноморской ЧК.
19. Каплан А. – с 8 апреля 1920 г. заведующий Отделом юстиции Кубано-Черноморской области; с 8 июля 1920 г. заместитель председателя Комтруда; с 12 июля по 15 ноября 1920 г. заведующий Отделом управления Кубано-Черноморского областного Ревкома.
20. Дорошев Ипполит Антонович – с 29 апреля 1920 г. Кубано-Черноморский областной комиссар по военным вопросам.
21. Левандовский Михаил Карлович – с июля 1920 по октябрь 1921 г. командующий 9-й Армией (с перерывами).
22. С Левандовским и Кировым мне довелось работать при обороне Астрахани с конца 1918 по 1920 г. в должности комиссара охраны и обороны железной дороги 11-й Армии. В этой должности находился до конца гражданской войны (Примеч. И.Г. Дудина).
23. Василенко Матвей Иванович – командовал 9-й Армией (5 апреля – 19 июля 1920 года), командующий 11-й Армией (26 июля – 12 сентября 1920 года), командующий 14-й Армией на Польском фронте (27 сентября – 5 ноября 1920 года).
24. Данберг Владимир Григорьевич – с 15 мая 1920 г. командант лагеря военнопленных при Кубано-Черноморском областном военкоме.
25. Червяковский Афанасий Акимович – с 23 по 26 июля 1920 г. заведующий подотделом Уголовно-следственного розыска Кубано-Черноморской областной милиции, затем инспектор Кубано-Черноморской областной милиции.
26. Воскресенский Борис Дмитриевич – с 23 июля 1920 г. секретарь Кубано-Черноморской областной милиции.

«МНОГОБЕДНОЕ НАШЕ СЧАСТЬЕ — ЖИТЬ В РОССИИ»



Беседа
Гурия Немченко
с Валентином
Распутиным



Август 1998 года

Гурий Немченко: Дорогой Валентин Григорьевич! Только что ты получил престижную премию за «публицистику последних лет». А на столе у меня лежит книжечка в сто страниц малого формата: «Костровые новых родов». Выпущена она в 1966 году Красноярским книжным издательством. А вот и твой автограф на ней: «Откопавшему эту книжечку в неолитических слоях... с воспоминаниями о тех давних-предавних временах». Так вот: действительно ли наша молодость — а вместе с ней и весь «развитой социализм» — остались в неолите?.. Я вот стал перечитывать и заволновался... и столько нахлынуло! Может быть, ты был всё-таки, прав, когда написал это: «Абакан-Тайшет, и ты можешь не предъявлять свою служебную характеристику. Абакан-Тайшет — и ты мой друг. Абакан-Тайшет — и даже через десятки лет мы

с тобой снова становимся молодыми». Как, по-твоему: это эликсир для узкого круга бывших романтиков?.. Или всё-таки — энергетический заряд, который дышит и ныне и ещё наверняка будет востребован?

Валентин Распутин: Да, понятно. Но сначала о том, что Сибирь с первых же лет своего включения в российскую орбиту устраивала строгий отбор как отрядникам, которые шли сюда для прибора под цареву руку сибирских земель, — так и для переселенцев, сажившихся на пашню. Отбор этот действовал и в эпоху великих строек. Человеку с жидкой костью и со слабым характером здесь было неуютно. За всяким массовым набором, за всяким приливом следовал отлив, вполонину меньшей силы, но неизбежный. Сортировка действовала не только по физическим качествам, но и по моральным. Во времена комсомольских призывов в особенности: общая атмосфера, атмосфера коллективов нечистоплотности не выносила, а товарище-

ские суды, над которыми теперь можно потешаться сколько угодно, свое доброе исправное дело делали. Гонор здесь сбивался быстро, а вот чувство собственного достоинства получало спокойное и твердое выражение, как при всяком длительном испытании.

Я знал стройки 60–70-х годов в Восточной Сибири — Братск, Усть-Илим, Дивногорск, Абакан-Тайшет, Талнах, Саяно-Шушенск. Где было легче, где труднее, не берусь сказать — везде было несладко. И как ни складывалась потом жизнь строителей, куда ни разбрасывала их судьба, всюду они должны были испытывать гордость за свою походную, бедную молодость. Об этом хорошо сказано у Льва Ошанина в словах, ставших песней: «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло; здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Конечно, это гордость теперь пополам с горечью — что там пополам! — чуть не полностью забита горечью: в эпоху торгашеского энтузиазма дело их рук разорено, распродано, развалено. Но ведь оно было, дело-то! Его можно развалить и продать, но отменить нельзя. Оно многого стоило в настроении тех лет.

Можно ли вернуться к такому же героическому энтузиазму? Ничего точно такого же не бывает, бывает лишь в схожих чертах, но без восстановительного порыва нам не обойтись. Без порыва, без энтузиазма, без вдохновенного похода во имя благородной цели народ долго не живет. Но прежде порыва восстановительного нам потребуется порыв освободительный, чтобы вымести всю ту «героическую» подлость, которая села нам на шею.

Г.Н.: Начну с цитаты: «Виктор закурил. Где он взял папиросы, я не знаю. За эти несколько дней я уже привык к тому, что люди здесь сосредоточенно глотают слюну и зорко всматриваются в каждого, у кого спокойное выражение лица. Это, по их мнению, или некурящие, или счастливики.

— Витка! Где ты достал папиросы?

— А вот достал! — ответил Виктор без особенного удовольствия.

Позволю себе небольшой комментарий: полтора десятка лет назад, когда у власти стал Андропов, московским писателям решено было сделать социальный заказ на острый современный роман. И вот на «собеседовании» в Комитете по печати мне сказали: «Вы долго жили на сибирской стройке: бывало, что в посёлке чего-либо не хватало? Что-либо было в дефиците?» Я воскликнул: да постоянно, мол!.. Молоко детишкам вез из города, из Новокузнецка. Это ладно бы. Но ведь и там: то носков нет, то лезвий, то курева, то... «И чем вы это объясняете?» «Нашим русским разгильдяйством, чем же ещё». «А может, вы подзабыли историю партии?.. Позабыли о троцкистах-бухаринцах?.. О вредителях?»

Скажи, в те далёкие времена ты задумывался о предательстве по отношению к нашему поколению — там, в Сибири? Не было ли уже тогда предвестия нынешнего большого предательства?.. Не будем об истории партии — давай о России: где, и в самом деле, наше родное разгильдяйство, а где — чужой строго продуманный план? В том числе, предположим, и Даллеса, и Бжезинского... «План игры», которую они ведут пока с разгромным, что называется, счётом?

В.Р.: Нет, о предательстве я тогда не задумывался. В наших слишком просто устроенных головах не было места для подобных подозрений. Хотя план Даллеса о тотальном подавлении советского человека по всем идеологическим, моральным и духовным фронтам существовал с самого начала «холодной» войны (и как было против такого плана не закрыться «железным занавесом»?!), а закон о порабожденных нациях, принятый конгрессом США в 1959 году, объявил о яростной подрывной работе по все-

му окраинному опоясу «республик свободных» против власти и русского народа. Работа, разумеется, шла, но ведь Даллес и Бжезинский существовали не только в сознании «пятой колонны». Они были в военной гонке, ставшей для нас слишком тяжелым тяглом, в том, что не мечи на орала, а орала мы перековывали на мечи, ослабляя хлебное поле и товарный прилавок. Конечно, нехватка курева, лезвий, носков и прочей мелочевки — это от разгильдяйства, его у нас всегда было с избытком. Но дорого обходилась стране и идеологическая косность, делавшая неповоротливой, а то и просто невозможной всякую полезную инициативу. Что это — глупость или измена? — говоря знаменитыми словами Милюкова? Сознательное или бессознательное вредительство? Создание из великих строек в Братске, Ангарске, Норильске, твоём Новокузнецке душегубок, где люди задыхались от грязных производств, равнинные затопления огромных площадей при строительстве гидростанций, варварское истребление лесов, целлюлозные комбинаты на Байкале, наконец — проект поворота вспять северных и сибирских рек? Деформированная экономика, где появились ненасытные ведомственные империи, несравнимые, конечно, с империями Гусинского, Березовского и Потанина, но позарывшие народных денежек в землю немало?

Думаю, что транжирство и очковтирательство, с одной стороны, экономия на человеке, с другой, и привели к тем благоприятным условиям, когда властное идеологическое и технократическое высокомерие по отношению к народу перешли в общественное недовольство, из которого состоялся спешный и организованный призыв в «пятую колонну». Вот в этом, последнем, действии многолетняя работа Даллеса и Бжезинского свою роль сыграла. Что хорошо было видно при создании межрегиональ-

ной депутатской группы в 89-м году. Позднее, когда стало очевидно, что призыв состоялся не против власти, которая молниеносно перекувыркнулась через голову, чтобы вновь оказаться у власти, а призыв состоялся против страны, часть опамятовавшихся энтузиастов сбежала из этой «колонны», но большая часть принялась доводить дело до конца.

Г.Н.: В очерке «Золотые костры романтики» есть такая фраза о строителях: «Как садовники, они выращивают на земле города, дороги, заводы, электростанции. А когда их сады начинают плодоносить, они зовут сборщиков урожая. Собирать урожай будут другие...» Это тогда называлось: придёт эксплуатация. И она пришла... «Сборщики урожая» появились оттуда, откуда мы их, кажется, и ждать не ждали. На мой Запсиб, например, пришли «сборщики» из московского «Альфа-банка» и прямо-таки качают деньги в столицу... А завод сидит без зарплаты. Между тем как просто было бы, если уж на то пошло и надо, чтобы над всяким добром были хозяева, как просто было бы разделить сообщаемое меж хозяевами истинными. Кто сколько проработал... на каком месте. Давно известное дело: коэффициент трудового участия — КТУ. Но нам навязали игру без правил... Понимаю, прорицание — не твоя профессия, и всё-таки. Ты видишь финал этой игры? Можешь предположить, каким он окажется?

В.Р.: А как Запсиб оказался в руках «Альфа-банка»? Как весь алюминий Сибири (и не только алюминий) оказался в чужих и грязных руках, дотянувшихся до него даже из-за кордона? Вводится рыночный механизм акционирования, государственная собственность делится между рабочими, затем рабочих на полгода, на год оставляют без зарплаты, и те свои акции за бесценок несут «Альфа-омега» или братьям

Чёрным, гражданам Израиля. Так произошло бы и с применением КТУ — коэффициента трудового участия — и все равно это была бы игра без правил. Переходить на рынок, да и то не на тот подлый, каким нас огрели, акционировать и приватизировать предприятия можно только при надежной нешулерской власти, вот тогда бы потребовался и КТУ во имя окончательной справедливости. У наших же «реформаторов» (Господи, какие они наши!) вся забота была о том, как украсть у нас и поделить меж собою Россию.

Так же они станут действовать и дальше. Сошло, сходит — и впредь тем же курсом пойдет. Постараются отобрать последнее, что не перешло еще в собственность еврейского капитала: газ, нефть, железные дороги, единые электрические сети. И, конечно, землю. «Больше наглости!» — провозгласил на съезде гайдаровской партии Чубайс — и Ельцин тут же начинает кампанию против «русского фашизма», а после этого расправляются с непослушным генералом Рохлиным. «Больше наглости!» — и Вяхирев с трудом отбивает очередную атаку против Газпрома, да и то, надо думать, ненадолго.

Впереди грядут тяжелые события. С национальной Россией еще не покончено, не зря Бжезинский назвал Православие врагом номер один. «Против лома нет приема, окромя другого лома», — советует простонародная мудрость по самозащите. А против наглости есть только одно средство — народная воля. Последние события показывают, что Россия, кажется, начинает осознавать, что нет ничего позорнее смерти на коленях.

Г.Н.: От «Золотых костров романтики» — к «Сибири без романтики». Это уже из твоей книги публицистики. «Что в слове, это за словом», которая вышла в Иркутске двадцать лет спустя — в 1987г. Подарил ты её

мне на Алтае и, знаешь, что написал: «Дай Бог нам силы и сроков, чтоб меньше грязи после нас осталось». Ты не из тех, кто играет в поддавки: строгая надпись!.. Я тогда переживал тяжелое время: после семи лет работы заведующим редакцией русской советской прозы в издательстве «Советский писатель» открыл для себя, наконец, что вольно или невольно прикрываю «торгующих в храме». Руководство «Большого Союза», я это видел, — кучка иезуитов, руководство издательства — чуть ли не шайка. Но и наш брат, литератор, хорош — я тогда такого насмотрелся! Это очень печальное знание: христопродавцы. Громко хлопнул дверью, ушёл, вернее — уехал. На Алтай как раз. И лечился там самым горьким, русским способом, против которого ты, как понимаю, и предупреждал меня... А мне тогда в «Советском писателе» будто прививку сделали — ничему уже потом не удивлялся: чего можно ждать от литературной братии?

Но вот, коли на полном серьёзе: а не много ли, и действительно, «грязи» останется в истории родины после так называемой русской интеллигенции? Или — советской, или — российской... как хочешь. И уже дополнительный вопрос: как ты относишься к так называемому возрождению дворянства, к новым дворянам, в том числе и к только что титулованным?

В.Р.: Грязи останется много. Гораздо больше, чем от предшествовавшего революции либерального периода, когда интеллигенция тоже произвела ее немало. Но сейчас некому и «Вехи» написать, известный сборник статей о предреволюционной интеллигенции, жертвовавшей ради мифических свобод Россией. Есть сейчас во многом справедливая к последнему драматическому этапу российской истории книга С. Кара-Мурзы «Интеллигенция на

пепелище России», есть замечательные статьи И. Шафаревича и В. Кожина, но подробного расследования и общего приговора до сих пор не произнесено.

То, что дети и внуки «пламенных революционеров», развязавших после Октября террор и террором же перемолотые, двинулись в 80-е против «этой» страны, понятно. Не получив полной и наследственной власти, они опять пошли на ее завоевание, а пятьдесят лет до того жили с мстительным сердцем, ожидая своего часа. То, что духовная и нравственная чернь, дорвавшаяся в 90-е до эфиров, принялась, издеваясь над народом, развращать его и дурачить, — тоже понятно. Есть сорт людей, при свободах ни для чего, кроме дурного дела, не способный, кормящийся нечистотами, — вот новая власть и возвела этих людей в учителя. Из нашего брата-литератора, мы с тобой прекрасно это знаем, перебежчиками и крикунами стали те, кто более всего заискивал перед старой властью. Тоже особая порода. У меня до сих пор в ушах звенят до неприличия пламенные коммунистические речи комсомольского трибуна из Киева В. Коротича, а потом столь же пламенные его антикоммунистические речи... И где теперь этот трибун?

Трибунствует. Ушатами льет грязь на русского человека с кафедры американского университета. Где Евтушенко, где прочие, добывавшие нам «свободу», от которой сами же и дали тягу куда подальше? А ведь они-то и печатались в прежние годы беспрепятственно, они-то и бегали за своими правами в ЦК, имели там и почитателей, и защитников.

Но с этих и спрос невелик, их неукорененность и актерство, даже при недюжинном таланте у того же Е. Евтушенко, видны были невооруженным глазом. Но невольно оторопь берет, как подумаешь о тех русских людях, известных, бывших властителями дум, которые

оказалась в одном стане с ненавистниками России и столько русским именем напутали и наследили в доверчивых умах, что хватит не на одно поколение. Ну, а они откуда? От широты русской души? От анархичности натуры, выходящей из поколения в поколение из глубинных времен... От заряженности нашего интеллигента, начиная еще с Чаадаева и Вл. Печерина («Как сладостно Отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее порабошенья!»), на свою несовместимость с грязной и грешной Россией, на отдельность: «Я русский, живу в России, но я человек передовой и мне в России тяжело»?

Не знаю, не берусь судить наверняка. Но мне кажется, есть здоровье, которое легче блюсти в себе, чем защиту от всяких физических хворей, и которое тем необходимее, чем больнее самое время. Я имею в виду крепость родового, национального духа. Интеллигенцию называют чувствилищем народа, но она, к сожалению, все больше превращается в приемник не своего, не родительского сознания, а чужого, ей все любезней становится брать под сомнение свое родство с землею, которая ее взрастила.

В нынешнем сентябре исполнилось восемьдесят лет, как на Валдае, возле своего дома был торопливо и бессудно расстрелян кожными тужурками великий патриот России, знаменитый публицист суворинского «Нового времени» Мих. Меньшиков. В ту же пору, когда создавались «Вехи», он сказал: «Позор и гибель, что наши вопросы государственные захватили в свои руки инородцы. Позор и гибель, что русское общество далось в обман. Надо, наконец, показать, что реформа русской государственности есть наша реформа, свобода — наша свобода, что мы хотим иметь иной быт не из рук врагов, а из собственной воли, из собственного исторического сознания».

...Но я не ответил еще на твой вопрос о дворянстве: можно ли возродить дворянство?

Нет, считаю, ни одно сословие заново породить нельзя. Как нельзя вернуть и монархию. Убитое — убито, попытки реанимировать его успеха не дадут. Это было бы лже-дворянством, лже-монархией.

Но в связи с нашим разговором об интеллигенции надо добавить, что интеллигенция без аристократии не сумела и не могла суметь удержать русскую культуру на той высоте, на какой она была в прошлом веке. Интеллигенция малообразованна, разночинна, болезненна, по своему историческому возрасту она ходит в недорослях, по психическому развитию честолюбива и притязательна. Черты аристократии интеллигенции не передались. Русская аристократия была опорой государственности, ее европейское образование подчинено было национальному служению, т.е. она мир вливала в Россию, а интеллигенция пытается Россию перелить в мир.

Г.Н.: Если не возражаешь, снова вернёмся к маленькой книжечке 1966 года, тем более, что и очерк, интересующий меня, называется «Возвращение». Позволю себе достаточно длинную цитату: «Бригада Павла Матвиенко вела траншею от компрессорной до Енисея. Ребята устали. Был март, была грязь. Они разделились по двое: один бросал землю на подмости, другой выбрасывал её наверх. И только Аслан Диасамидзе был один. Он то поднимался на подмости, то снова спускался вниз, он давно уже сбросил с себя бушлат... — Больше не могу, — сказал он, тяжело дыша. — Дай мне кого-нибудь на помощь, бригадир. — Некого, — бригадир оглядел ребят и снова повернулся к Аслану. — Видишь, совсем некого. Возьми кого-нибудь сам. Выбери самого надёжного. Например, Александра Матросова. Он не подведёт. — Кого? — не поверил Аслан. — Александра Матросова.

Видно, он был рядом. Он сразу же подошёл и взял лопату...»

Мы все отдали этому дань, и я тоже. А после написал «Возвращение наших»: о том, как к нам вернулись наши святые — и преподобный Сергей Радонежский, и преподобный Серафим Саровский... все-все. Со мной это как-то очень просто произошло: когда в Серафимо-Дивеевской обители, во время переноса мощей Преподобного, казачья охрана несла службу, ко мне подошёл человек и говорит: не помните меня?.. Нас с вами вместе в партию принимали на Запсibe. А вы, спрашиваю, здешний?.. Да, здешний: Алёша Земсков. Работал в нашем мостопоезде. Я ему говорю: как это здорово, Алёша, знать, что наша стройка не обошлась без батюшки Серафима — ведь Вы же столько лет связывали нас с Ним и с Вашим Дивеевым. Ты-то, я думаю, поймёшь, Валентин Григорьевич. Но вот многие считают, что это чуть ли не противоестественно — если они рядом, герои старой Руси, более того — Руси Небесной — и герои советской эпохи. Страдальцы. Настоящие герои, а не придуманные. Разве их было мало?.. Так вот, уютно ли им всё-таки рядом? Правомерно ли такое соседство?

В.Р.: Господи, да ведь строй-то один! Строй защитников России, ее спасителей. Из того ряда, который не уходит, который «живее всех живых». Что такое вечность, которая стала им обителью? Постоянная, непрекращающаяся служба среди нас, постоянные подвиг и подвижничество. И это так естественно: рядом с Преподобным Серафимом, святым Земли Русской, детдомовец Александр Матросов, в рывке на вражескую амбразуру превративший себя в искру, в звездочку, которая, несмотря на черные дымы, заставшие небо России, светит до сих пор! Это так понятно: великий старец, мудрец, проповедник любви, приобнимает маль-

чишку, чтоб вместе выйти пред нами, охваченными тревогой и неуверенностью!

Мне нравится давно сказанное: Россия — это тело, Русь — душа. Над этими словами с огромной пользой для себя можно рассуждать много. Тело без души — ничто, но и душа — в теле, их разлучает только смерть. Преподобный Серафим немало потрудился над окормлением нашей души, и советский юноша, которого наверняка вразумляли, что никакого Бога нет, не слышавший, быть может, никогда имени молитвенника за свой народ, был, тем не менее, частью Руси, а она жила и выжила и в коммунистической России.

Конечно, мой очерк более чем тридцатилетней давности сегодня может показаться чрезвычайно наивным, а сам почин работать за «того парня», многократно осмеянный, — пропагандистским трюкачеством. Пусть. Не для того же включали в бригады и смены по всей стране девять, двадцать или пятьдесят человек, чтобы за эти пятьдесят человек «мертвых душ» коммунизм мог получать прибыль. В государстве с почти 300-миллионным населением это, право же, смешно. А для того, надо полагать брали в руки отбойный молоток за «того парня», чтобы ощущать его постоянное присутствие, чтобы не сошел он с родной земли и всегда оставался в ратном ополчении, которое незримо стоит за нашими спинами. Комиссаров в кожаных тулупах, расстреливавших русских патриотов, насколько я знаю, в бригады не брали.

Г.Н.: Само собой, ты помнишь то время, когда наше поколение любило говорить: «Сибирь — это вера». Или: «Север — это вера». Для третьих это была целина... ну, и так далее. У каждого — «своя» вера. Во-первых, что от тех наших «вер» осталось?.. Не погубили их окончательно «деловые» и перевертыши?.. И, во-вторых: в твоём кабинете в московской квартире висит на стене написанная

маслом маленькая картина... Я подошёл поближе, чтобы взглядеться, а ты сказал: это, мол, Белов написал. Василий Иванович. Он в последнее время занимается этим — видишь, мол, довольно успешно. А нарисована та самая церковь, которую он восстановил в своём селе, в Тимонихе... Так вот: вопрос о вере православной. Понимаю, что твой религиозный опыт — твоя тайна. И всё-таки...

И наши сверстники, и много кто постарше и помоложе продолжают гордиться своим «просвещённым» атеизмом. Священнослужитель для них — просто поп, епископ, предположим, — «важный поп», а Святейший Патриарх — «главный поп». С уверенностью они говорят: «А какое отношение вера имеет к духовности?.. Вера — заблуждение, а духовность — это...» И часто не могут это объяснить без родной материны. Я благодарен многим своим друзьям, которые не говорят при мне скверных слов... Но кто-то, случается, ими просто испытывает. И когда я вспоминаю величественных столетних старцев из моего станичного детства, то в сравнении с ними так проигрывают наши рано поставшие сверстники, бросающие под ноги окурки и матерящиеся... Нам ли в этом случае рассуждать о нашей молодёжи, для которой Бог — это жвачка. Хоть молчит, пока жуёт — и то хорошо!

Что тут делать? Как со всем этим быть?

В.Р.: Духовность декретом не проведешь, это верно. Но заботиться о духовности, как и о нравственности, государство обязано — если оно заинтересовано в своем здоровье и благополучии. Нынешняя власть в них не заинтересована, это убедительней всего говорит о том, что власть у нас чужеродная. Она уничтожает культуру, как любовь и красоту, и внедряет под именем культуры уродство, бесстыдство и сатанизм. Она поручила воспитание своих гражд-

дан развратникам и развращенцам, которые открыто гордятся этими своими «доспехами». Все свободы, защищаемые ею, сводятся к одному — к свободе беспрепятственно творить зло. И под духовностью эта власть понимает свое самочувствие, не более того, состояние своего духа.

Между тем духовность в моем представлении — это связность с вечностью, дорога, ведущая через смерть. Она не может быть только религиозной, разлившись и в искусстве, и в природе, и в отношениях между людьми, но если эти отношения, этот трепет перед красотой и предельной выразительностью имеют возвышенный характер, значит, невольно мы принимаем в них единое творящее начало.

При чтении стихов Пушкина или Тютчева, рассказов «Святые» и «Косцы» у Бунина и книги Шмелева «Лето Господне» мы не можем не чувствовать и, подобно намоленным стенам в храме, напитанность восторгом, наплаканность слезами умиления этих давно сочиненных страниц. Сочиненных ли? Нет, переданных в ту душу, которая способна принять их без искажений и высказать в точности. Прочитав их, я перестаю верить в небытие — я побывал там, в тех горних высотах, в том чувственном чистом экстазе, в той неземной окрыленности, откуда возвращаются вовсе не бренными остатками. И я ощущаю, близко ощущаю присутствие всех, кто читал эти страницы до меня и вместе со мной, вижу себя в их едином братстве.

Чтобы душа готова была к восприятию чуда молитвы и чуда искусства, ее, как и всякий инструмент, нужно настроить. У нас с готовностью расстраивают последнее. Как не материться юнцам, если беспрестанно матерятся с экранов и с книжных страниц? Как не сунуть душу в секту, если у нас оплачиваемый рынок вер, а больше того — изуверий? Как не... если... берусь повторить этот оборот сто раз, и все в

непустячных, сердце надрывающих вопросах, — да толку-то!

Когда общество не в состоянии справиться со сворой спущенных на него свобод, а псари еще и натравливают их на общество, то к его же благу такие свободы укорачивают. Свободы что собаки — к чему пригодились... Они могут быть и другом человека, и беспощадным зверем.

Г.Н.: Пожалуй, это продолжение на эту же тему. Вот цитата из книжки «Что в слове, что за словом» из очерка о Викторе Лихоносове: «Из всех столпов любого государства память имеет самое большое и самое важное значение, и она должна быть первым гражданином государства. Народ велик не числом жителей, а благотворной памятью, подвигающей к благим и безошибочным деяниям». У нас нынче против этого «первого гражданина» всё выставлено: телевидение, радио... бесконечные юморины и смехопанорамы, целые армии паразитирующих на теле великой культуры пародистов-издевателей. В начале «перестройки» наши «прорабы» любили поговаривать о том, как пророк Моисей сорок лет водил «сынов израилевых» по пустыне: дабы избавить их от рабских комплексов. Тоже предлагалось и нам: якобы с той же целью. Не будем о том, что существует иное мнение о причине изгнания евреев из Египта... и что за эти самые сорок лет им предстояло, по справедливому мнению пророка, избавиться от дурных привычек и очиститься от всякой скверны... Но нас-то вот уже десять лет водят по пустыне исключительно с одной целью: лишить национальной памяти. С помощью самых мощных технических и психотропных средств... Раньше как было? По Украине ходили слепые бандуристы и пели героические песни о прошлом. Или в той же Черногории, предположим. Или в своё время

в Болгарии: от села к селу, от дома к дому, от человека к человеку или старцы — несли отеческий завет, не давали забыть историю. А наше положение: вот оно вроде — пожалуй-ста! Плюрализм: всё есть. И книги на развале лежат. Но человек выбирает другую, что поярче, а то и пострашней: любовный роман либо детектив. Что противопоставить новым условиям, которые, и в самом деле, есть прямое зомбирование?

В.Р.: Меня особенно «умиляет» рыночный императив по отношению к искусству: спрос рождает предложение. Чистой воды шулерство. Предложение рождает спрос. От имени спроса, т.е. вкуса, идет навязывание низости и гадости. На тех развалах, в которые мы чуть не на каждом шагу утыкаемся, много ли хорошего, полезного, удобряющего сердце? Много ли его в останкинских помоях? Может быть, на фильм «Последнее искушение Христа», издевающегося над чувствами христиан, был спрос? Может быть, без глумливой передачи «Поле чудес» мы жить не можем? Прилавочный развал быстро превратился в целенаправленный подбор всего отупляющего, развращающего, ожесточающего, обесчеловечивающего, отчуждающего от родного духа. Можно ли представить, что за те десять лет, когда началась эта свистопляска, вся Россия поменяла вкусы, и все родители с легким сердцем склонились перед выбором, чтобы их детей денно и ночно развращали из всех пропагандистских и «культурных» щелей? Чепуха, нас дурачат как дикарей, а мы и рот разинули: спрос рождает предложение. Ох ты, многобедное наше счастье — вкушать смертельные свободы! И когда мы их, наконец, выплюнем?

О памяти, национальной и исторической памяти... Упоминаемую статью о романе В. Лихоносова я писал еще в старые времена, в году, кажется, 85-м. После юбилея битвы на Кули-

ковом поле идеологическую плотину, удерживающую память, прорвало, и она принялась широко разливаться по всей России. Русские писатели сделали для этого очень многое — и «деревенщики», и В. Чивилихин романом «Память», и В. Лихоносов, и В. Пикуль — что перечислять! — вся современная русская литература вышла на это запущенное национальное поле. Затем 1988-й год — тысячелетие крещения Руси. Два столь великих события в одно десятилетие не разбудили разве что уж совсем мёртвую душу. Русская Россия поднималась в полный рост, все отсеченное по 1917-ый год возвращалось, все разбросанное из духовного наследия по миру искало соединения, отсюда и отсюда, как из былинного времени, слышалось напутствие: налево пойдешь — голову свернешь, направо пойдешь — себя найдешь.

Вот тогда-то, видя, что память не отменить и обратно в спецхраны не загнать, решено было ее исказить, сделать из истории сплошной путь насилия и зверств, а из национального бытия — грязь и тупость. Ничего-то он, русский человек, не умел: нарастив огромную империю в шестую часть суши, не умел воевать; кормя хлебом чуть не всю Европу, не умел пахать; создав великое искусство, был примитивен и бесталанен. И по сегодня дудит эта дуда. Историю и литературу в школах и вузах преподают по учебникам Сорока, где ложь на лжи, подтасовка на подтасовке... Телевидение над русскими парнями на чеченском фронте издевалось как над баранами, радуясь их жертвенной гибели... И так далее...

А посмотреть, какие фейерверки устраивают из юбилеев третьесортных фигур, деятелей клеветы и фиглярства, снискавших себе на этом попрание неслыханную славу! Искры на всю страну, даже на всю поднебесную. Третьесортные, но «жадно толпой стоящие у трона», правящие бал, чувствующие себя полноправными хозяевами.

Что им противопоставить? Свое, настоящее, духовное, которого они как креста боятся. А кроме того... Мы ведь не заклинатели, способные смирять ядовитых змей до того, что они оставляют смертельные прыжки и переходят на гуманные танцы. Наша традиция по этой части бедна. Не хотят убирать жало — гнать надо.

Г.Н.: Вернёмся в Сибирь: или она того не стоит?! Два отрывка из твоего очерка «Сибирь без романтики»: «За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, ещё впереди». Как кубанец, не могу не припомнить, что недавно мы употребляли привычный термин: «покорение Кавказа», да...

Но я о другом. Ещё отрывочек: «В сущности, опершись на Сибирь да ещё на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе, очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придётся решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум? Земля, как планета, всё более и более устанавливается на четырёх китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надёжным. И если слово «Сибирь» в своём коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения».

Так вот, не кажется ли тебе, что «сибирский медведь» в целях самосохранения ещё более зажатся? Ещё больше замкнулся в себе, нет?.. Кому-то это может показаться своего рода «сибирским шовинизмом»: русская духовность спасёт больной мир. Сибирь — планету. Но да ведь так оно и есть!

Однако я вот о чем: помню, как Василий Ива-

нович Ситников, приехавший к вам в Иркутск «первым» из Кемеровской области, гордился тем, что это при нём ты стал Героем Социалистического Труда... Помню, как в том же Барнауле Филипп Васильевич Попов, «первый», тоже наш, кузбасский, бывший шахтёр, а потому — крикун и ругатель — разговаривал с тобой, как на дипломатическом рауте. Да и о чём шёл разговор: быть или не быть гидростанции на Катунь?.. А как складываются твои отношения с Сибирскими «китами» сегодня?.. Есть ли они, «киты»?.. Понимают, что происходит с Сибирью, с Россией, со всей планетой? Если нет — готовы к пониманию? Готовы к сотрудничеству?

В.Р.: Вспоминаю (раза два это было на моих глазах), как, попадая в кабинет к Горбачеву, Василий Белов приносил ему что-нибудь из родного, отечественного — работы И. Ильина или И. Солоневича. Позднее Никита Михалков, просвещая Руцкого, также доставлял ему книги Ильина. Но Руцкой, судя по некоторым его тогдашним выступлениям, хоть читал (потом забыл), а Горбачев, конечно, не читал. Чем может писатель одарить государственное лицо? Истиной, которую он считает важным распространить на государство. Вот и я, как только стали меня пускать в важные кабинеты, тоже пытался заинтересовать их хозяев некоторыми подобными истинами. Пока не понял, что нас, русских писателей, не скрывающих своей русскости, опасаются, почти как зачумленных. Принимать — принимают, слушать — слушают, но двери за нами закрывают с облегчением. Не боялся один Е.К. Лигачев. Но это к слову.

У меня добрые деловые отношения с иркутским губернатором Б.А. Говориным. В губернаторах он чуть больше года, а до того был мэром Иркутска и немало помогал местной культуре, строил и открывал школы, в том числе православную женскую гимназию, музей,

театр. И четырежды при его поддержке мы проводили в Иркутске праздник русской духовности и культуры, который, несмотря на скрытое сопротивление местного передовизма, стал традицией. С нынешнего года праздник становится областным. Это стоит денег, но ведь и круг действия доброго дела расширяется. А с будущего года предполагается начать «Байкальский форум» — духовное объединение сибирских народов, проживающих вокруг Байкала или неподалеку от него. Тоже необходимое дело. Не для закладки сибирского сепаратизма, как заранее принимаются коситься на эту инициативу, а чтобы избежать его. Это, кстати, совместное предложение бурятского и якутского президентов и иркутского губернатора.

На Сибирь сейчас целят все стервятники, сколько их ни есть в мире. Немало ее богатств уже и пораспродано. Как знать, не придет ли в голову федеральной власти вообще торгаться сибирской землей — чтобы спасти себя и расплатиться с фантастическими суммами долгов. Сегодня такое предположение кажется фантазией самого дурного толка, но по опыту мы уже знаем, что в наше время все дурные фантазии в России имеют свойство сбываться. Так что сейчас не до спасения мира Сибирью, а вот спасение России Сибирью, быть может, потребуется уже в ближайшие годы. Я, разумеется, говорю не о ее готовности быть жертвой.

Г.Н.: Поверь, на душе радостно, когда читаешь в содержании книжки «Что в слове...»: «О романе Виктора Лихоносова...», «О рассказах Геннадия Николаева», «О повести Георгия Семёнова...», «О Василии Шукшине», «Истины Александра Вампилова», «О Фёдоре Абрамове», «К 60-летию Виктора Астафьева», «К 70-летию Сергея Залыгина»... А недавно ты так трогательно написал о Семене Ивановиче Шуртакове, которому исполнилось 80. Какое дружелюбие, какая искренность в этих

статьях, какое уважение к собратьям. Ты, наверное, такой человек — тебя не обманывали. Ещё раз вижу разницу в восприятии наших коллег-писателей: всё-таки не прошла для меня даром работа в «Совписе»!.. И всё-таки позволю себе сказать, что сибиряков я зауживал ещё больше. Кубанцев, земляков «родных» — нет, сплошь разочарование, а сибиряки — и правдолюбцы, и страдальцы... Может быть, тут личное — начинал-то в Сибири, провинциальную шкуру там дырявили! А давай-ка вспомним «иркутскую стенку» — так вы себя называли: ты, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев... Толя Преловский?.. Кто еще?.. Ты теперь прочно стоишь в «русской стенке». Но осталась хоть в каком-то поредевшем виде — иркутская?.. А «сибирская стенка»?.. А ещё какая-то иная, которая стоит вслед за русской. Давай не будем забывать об эшелонировании в рядах наших оппонентов. Можно позавидовать! Таланта на пятак, а как распишут, как приподнимут! А мы при всём нашем, смею себе сказать, — тоже оттуда это знание, из «Совписа», на этот раз поклон ему! — так вот, при всём нашем почти несметном богатстве вскинем над головой пятерню и — хорош. К тебе это не относится: я ведь как раз и начал с обилия имён обогретых тобой писателей. Но наше общественное мнение?.. И ещё: может, литературному чиновнику, что там ни говори, куда удобнее работать с этой пятёркой-семеркой, нежели со столькими сразу — да каждый со своим характером, своим норовом?

В.Р.: Кого из нас, дорогой Гарий Леонтьевич, в последнее десятилетие не обманывали, не предавали?! До того я был на «беспривязном содержании», на полной воле — не служил, в партии не состоял, позволял себе начальства не иметь, завистников не замечать, с неприят-

ными людьми не знаясь. А в 91-м, после моей подписи под знаменитым «Письмом к народу», предупреждавшим о трагических и необратимых событиях, надвигавшихся на страну, к расправе надо мною призывали и из русской «стенки», и из иркутской. Такое время — нет смысла обижаться. Все разделилось, все... все в неоднократном делении встало по разные стороны России. И я сейчас, пожалуй, чувствую даже удовлетворение оттого, что остался с истинными товарищами и соратниками. Время и общая наша беда отрекомендовали их так, что лучше и не бывает. Надежные остались с надежными, ненадежные с ненадежными. Нет худа без добра. Со спины, кажется, больше заходить некому. Как в бане с парком помылся.

Г.Н.: В свой двухтомник, вышедший в прошлом году в «Современнике» с помощью — спасибо ему за это, великое спасибо от нас всех! — ОАО «Братсккомплексхолдинг» ты не включил публицистики. Скорее всего, из-за малого, что там ни говори, объема издания. Но твоё «документальное» предисловие к нему, «Откуда есть пошли мои книги», и правда, пронзительно... «Не стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в которую я беспрестанно заглядывался в детстве. Теперь она, обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя своё имя. Надо ли гордиться, что я, кажется, последним, пропел ей сыновью песню со словами, которые она в меня наплескала?! И, быть мо-

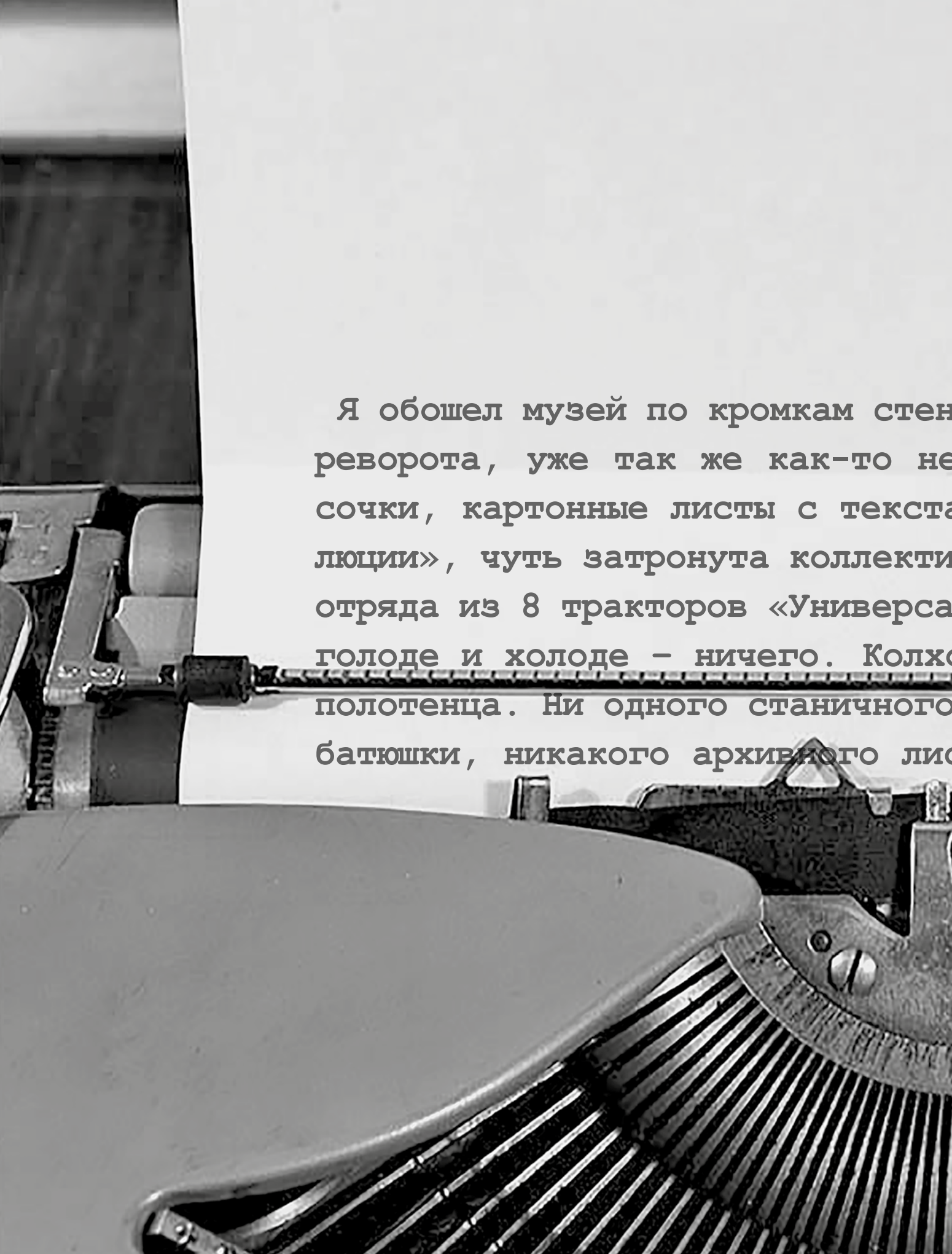
жет, в вечное моё утешение за благодарную память стало так, что бабушка и дедушка, а также отец лежат вместе в сухой земле, а не под водой, как их бабушки и дедушки».

Но вот, когда читал о твоём родном селе, о твоей Аталанке, я подумал: Аталанка, Аталанка... Что-то от атлантов. От Атлантиды. Благодаря твоим титаническим усилиям и твоему природному таланту — опять Аталанка! — твоя «Матёра», и в самом деле, стала нашей нынешней Атлантидой... И всё-таки мне хочется на русский лад: лучше — град Китеж?.. Который ещё поднимется во звоне колоколов со дна Сетлояр-озера.

Ещё из предисловия: «пятьдесят лет назад люди, пережив великое бедствие войны, в горе обнялись вместе, чтобы выстоять. Это был недолгий, но воодушевлённый, психически радостный своим выздоровлением период подъёма. Его не удалось подхватить».

Но ведь нынче идёт самая настоящая война. Такая на этот раз, якобы вялотекущая. «Нейлоновая», как они её называли задолго до того, как она началась. Где вместо снарядов — турецкий ширпотреб. В Сибири — китайский. Именно так и спланированная — как операция под местным наркозом: всё глубже, глубже проникают... В победу, несмотря на все наши горести и печали, веришь?

В.Р.: Верю. На умственные, логические доводы всегда найдутся контрдоводы. А я верю сердцем. Тут довод один: не может быть!.. ■



Я обошел музей по кромкам стен
реворота, уже так же как-то не
сочки, картонные листы с текста
люции», чуть затронута коллекти
отряда из 8 тракторов «Универса
голоде и холоде – ничего. Колхо
полотенца. Ни одного станичного
батюшки, никакого архивного лис

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

И теперь, после ельцинского пе-
енужно пригорюнились плакаты, до-
ами и фотографиями «на тему рево-
визация («...на базе тракторного
л» создана Переясловская МТС»). О
озы, война. Есть чугунки, прялки,
атамана, ни одного православного





ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

Родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской области. С 1956 года живет на Кубани. Классик русской литературы. О его творчестве восхищенно отзывались Б. Зайцев, Г. Адамович, Ю. Казаков, А. Твардовский, В. Распутин, О. Михайлов, Ю. Селезнев и многие другие. Лауреат самых престижных литературных премий. Создал журнал «Родная Кубань» и 18 лет был его главным редактором.

*Эта одна из самых успешных кампаний Русской армии оказалась и самой забытой.
(«Военная быль», 1992, Нью-Йорк)*

ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ И...

«...С великой радостью и гордостью я считаю своим долгом отметить в заключительном приказе героический подвиг нашего славного уманца, сотника Гамалия с его доблестной сотней, ставшей затем Георгиевской сотней 1-го Уманского полка после поголовного ее награждения бывшим Главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем, Георгиевскими крестами.

Гамалию с его доблестными офицерами и казаками принадлежит честь установления живой связи между нашим корпусом и войсками соседней Великобританской Месопотамской армии. Эта сотня пошла на опасное предприятие, в котором она могла погибнуть вся, до последнего человека, как я об этом ее лично предупредил в поселении Майдешта, — с удивительной по единодушию и отваге решимостью.

Объяснение этому, кроме личной доблести всех офицеров и казаков, их беззаветная вера в своего сверхдоблестного командира, сотника ГАМАЛИЯ.

Честь и слава этим Героям во главе с ГАМАЛИЕМ, прославившим своим лихим кавалерийским рейдом и себя, и наш корпус и стяжавшим себе всемирную славу.

10 июня 1918 год

Генерал от кавалерии БАРАТОВ».

Уже всю шла Гражданская война, под Екатеринодаром убили генерала Корнилова, в родной Гамалию станице Переясловской насильно устроились новые порядки, а через месяц в Екатеринбурге расстреляют царскую семью. Судьба 1-го Уманского полка, фамилии казаков, совершивших великий рейд, жизнь на чужбине самого Гамалия и все другое упрячутся в архивах, поте-

ряются в письмах и устных преданиях, сомкнутся потом в небесах, и долгие десятилетия никому не позволено будет вольно вспоминать в разговорах на родине и писать об этом.

ГРУСТНЫЙ РАЗГОВОР

Я перечитал воспоминания о Персидском походе и стал донимать расспросами архивариуса В. Шкуро и позвонил в станицу Сергиевскую самому настойчивому подвижнику в составлении и пробивании в печать томов-справочников об участниках той горькой далекой войны, казаках Кавказского, Таманского, Ейского отделов — М.С. Тимченко.

— Ну, а штатные кубанские историки искали Гамалия? — кричал я ему в трубку. — Зачем четверть века гуляем на свободе, болтаем о верности предкам, козыряем парадами, а кто-нибудь оглянулся назад: от кого мы взяли, чего это мы без их фамилий возрождаемся? Ну, есть один человек в Москве, далеко от кубанского архива. Ну, ездили сколько раз с атаманом и без в Америку, регалии вызволяли, чтоб похвастаться, какие мы благодарные потомки, а про бумаги, про последних сынов казачьих, то родовитых, то просто славных, там почивших и еще кое-где в Европе, как-то не подумали и с девичьей невинностью гордо прилетели домой. Как это понимать, господа-товарищи? Василий Данилович Гамалий! Кто-нибудь вздрогнул, заплакал, когда читали у Стрелянова или Шишова о его рейде? Да и кто ж это читал? Интересно, кто? Опросите казаков, и что услышите? «Та не знаем...» 100 лет войне с Германией отмечали, поклялись, что будут напоминать о ней до 2018 года, писать и прочее. Тишина! Тишина,

братцы мои, все уже рады, что спихнули ту дату. А ну поедem с вами в Переясловскую, попытаем, что там знают про героя — земляка Гамалия? Он там родился в 1884 году.

— Да, семьдесят лет чернила советская власть казаков, имя Гамалия стерли с почетной доски, да и вообще закопали, — отзывался голос из станицы Сергиевской. — И некому в станице хоть чуточку намекнуть о нем. А был Гамалий — казак высокий, широкий в плечах, пику и шашку держал легко, пел хорошо басом. «Властный командный голос», с казаками вел себя и кутил «по-запорожски».

— А служил в Карсе. Боже мой, да тут и о Карсе можно написать, это ж на турецкой земле, все было наше.

— И после царя все потеряли!

— Так скажите мне, — приставал я лишний раз, хотя оба мы выразились на этот счет давно, — скажите, пожалуйста, почему его не искали наши приглубленные кандидаты исторических наук, казаки станицы Переясловской, атаман Войска? Все мы такие хорошие, а кто из нас все-таки виноват?

— Как всегда — все и... никто.

Мы целый месяц собирались в Переясловскую, наконец, созвонились как-то утречком и выехали с двух концов. Встретились в старом советском клубе, в музее.

Остатки советской старины так же заброшено, как после революции приметы царского времени, показывались там и тут.

Перед грубо-бетонным клубом загораживал на аллее дорожку мрачно идейный, отрезанный по грудь, каменный Ленин. На секунду было даже жалко его.

В самом клубе тоже ощущалось сиротство. Музейная комната тоже пребывала в общественном небрежении. Прежней власти нет, и вдруг куда-то пропала идейная ретивость, исполнительность и чувство нажитого долга.

Мы с Михаилом Сергеевичем возбудились мгновенно и заговорили так, будто и не бросали сотовые телефоны. Портрет Гамалия на стене словно обрадовал нас, что мы со своими мемориальными заботами не одни. Мы тотчас и призвали его всей душой из небытия к нашему заветному

кружку. Переясловский и Брюховецкий атаманы молчали в ожидании чего-то.

— В белой черкеске он особенно хорош, — сказал Михаил Сергеевич, глядя на исторический портрет. — Залюбуешься. Такие они и были. Что статья, что взгляд. Они и на семейных фотографиях сидят, как стражи порядка, уклада. В нашем Войсковом штабе такого героя не признали. Нет его там портрета. Может, в Георгиевском зале Кремля искать?

— Там и еще кое-кого нет на стене. А портрет генерала Науменко сняли. Герои в сражениях каждую минуту готовы идти на риск, а в общественном быту люди предпочитают быть осторожными и «идейно выдержанными».

— Да и не помнят ничего. Не читали. Сотник Гамалий. Чеченец Хаджи-Мурат Мукуев написал большой роман про его рейд «К берегам Тигра», а на Кубани даже в казачьей газете не было за двадцать лет и упоминания о нем. Есть наслаждение геройством. Отрадное, но и горькое наслаждение от казачьего похода усиливается... будущей судьбой народа, который мы уже знаем. Как они 27 апреля 1916 года выехали из Керманшаха! Задумаемся: в Зимнем дворце Государь еще владел Русским царством... Но они не знали, что уже злостно расписан конец этому царству. Это мы летим с ними на конях в 16-м году и уже все-все знаем: что сбудется, кого убьют, кто скроется за морем. А тогда уже жаждали — будут брать Стамбул (Константинополь). Гамалий бы и молился с сотней в Айя-Софии. Еще все кругом было как встарь.

— Еще Бабыч сидел наказным атаманом в своем двухэтажном дворце на Бурсаковской, — вступил мне на помощь мой товарищ М.С., сам атаманивший много лет в своей округе, — еще все стояло «по старине», на Кавказском фронте взяли Эрзерум, Трапезонд и весной 17-го, вы правы, замаячит победа, вот-вот поколеблется Стамбул (Константинополь)...

— И сотня Гамалия постаралась укрепить славу. Я не могу спокойно перечитывать, как они пробирались по Азии. 104 казака и трое оберофицеров, 130 лошадей. Я в Интернете стал искать все эти селения и ущелья, через которые они шли

15 дней по неприятельской территории, до самого библейского Тигра. Только через пустыню шестьдесят верст одолели. В какой-то миг без воды стали падать лошади. Если учитывать, что пришлось петлять, преодолевать горы и спуски, обходить опасные аулы, то туда-назад насчитается добрая тысяча верст. Я читал и часто вздрагивал: что их ждет после такого подвига, после отречения Государя? Боже мой, Боже мой. Бояться будут своих, начнётся сеча. И кончится чужбиной.

— А я их вспомнил, когда недавно сирийские войска переплывали с боем Тигр, — по характеру властный Михаил Сергеевич долго и жалобно молчал. — Нарочно нашел страницу про сотню, а там: «Переехали на лодке через Тигр». Это уже к англичанам. До Басры плыли по течению двое суток, а назад четверо. Басра в Ираке. Еще и джигитовку для англичан устроили! А назад! Надо ж в корпус к Баратову. Через пустыню араб вел на Полярную звезду. Какие ощущения! Не расскажешь. Надо читать. Но никто нигде, ни в школах, ни в институтах слова не молвит. 2-го, кажется, июня они прибыли. Без 19 лошадей. А сотня целая. Вот это казаки, вот это было казачество!

— Какие у вас улицы? — спросил я сотрудницу клуба.

— Ленина, Красная, Красноармейская, Железнодорожная, улица Жертв Революции.

— Иного и ожидать нельзя. А в станице фамилии Гамалий не водятся?

— Никого.

— «Жалую сотнику Гамалию орден святого Георгия 4-й степени. Николай». Советской власти это было не нужно.

Я обошел музей по кромкам стен. И теперь, после ельцинского переворота, уже так же как-то ненужно пригорюнились плакаты, досочки, картонные листы с текстами и фотографиями «на тему революции», чуть затронута коллективизация («...на базе тракторного отряда из 8 тракторов «Универсал» создана Переясловская МТС»). О голоде и холоде — ничего. Колхозы, война. Есть чугунки, прялки, полотенца. Ни одного станичного атамана, ни одного православного батюш-

ки, никакого архивного листочка (хотя бы список станичного сбора).

— И выходит наши поклоны, наши патриотические чувства покоряются только указаниям начальства и существующего строя. Так?

Недавно сокращена штатная ставка заведующего музея. Оптимизация! Любимая нынче в государственных порядках оптимизация! Все у них денег не хватает.

— Недавно привозили в Брюховецкую певца, какого-то Маркела, что ли. Сунули ему миллиончика два. Без всякой оптимизации. Подкинули, и все. Также в Краснодаре за две-три-четыре песни подкидывали хрустящие купюры Газманову, Дмитрию Певцову и проч. Их народ любит, а какой прок от Гамалия или Никифора Кирилловича Камянского с запорожскими усами? Между Брюховецкой и Роговской был хуторок Камянского.

— Оптимизация памяти о предках...

— Так и назовем нашу тревожную записку. И посылать-то некуда.

— Еще раз подскажем себе: Законодательное собрание выносило постановление о том, что поминовение Великой 1-й Мировой войны будет отмечаться до самого ее окончания, то есть до 2018 года. Забыли. Чемпионат мира по футболу мешает. «Надо вернуть эту войну в нашу историю...» — сказал сам президент Путин. Не слышат президента?

— Двадцать восемь лет возрождается казачество. У многих вся грудь в медалях, значках за несовершенные подвиги. А Гамалий вроде хуже. Ордена св. Станислава и св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, св. Станислава и св. Анны 2-й степени с мечами, св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Аннинское оружие «За храбрость». И умер нищим в Америке. И ездила туда компания историков и атаман, и ни словечка о нем не привезли оттуда. Плакать хочется. В Ираке, — рассказывает племянник покойного Примакова, — одна древняя старуха-арабка знает от других старцев, что по Тигру к Басре приплывали «русские казаки». Так и называет. Да может, в Басре где-то в музейном или архивном уголке фотографии или еще что-то хранится. А у нас — ничего! ■

ВСЕ ОБРАЗУЕТСЯ?

На «Казачьем острове» нас приняли атаманы (Переясловского и Брюховецкого казачьих обществ). Прелесть родной «старовыны» у реки Бейсуг. Захотелось напроситься пожить здесь и рядом с камышом и лошадьми пописать что-то упущенное в городской толкучке.

На трапезе сидели в длинной саманной хате, недавно созданной, обошли цветущие белизной комнаты с утварью и домашними предметами и реликвиями, подаренными станичниками, поклонились душой тому, «как жили при царях и атаманах», порадовались казачьему старанию. Бытовые приметы — это хорошо, это радует, но что ж не собираем мы листочки, воспоминания, не умеем писать книжки? Господом Богом также заповедано душе вовеки восхищаться достойными лицами, биографиями, судьбами, бить усердные поклоны, поминать в молитвах. Неужели «на эту тему» нужно читать сердитые лекции?

— И что же получается? — опять затынул я свою песню после первого вкусного угощения. — Мы все такие примерные замечательные люди, мы такие верноподданные нашему государству, нашей подвижной меняющейся истории, мы маршируем на парадах, заседаем на Советах атаманов, красуемся важностью в разных интервью, и как что — так клянемся, что мы верны заветам предков, ценим их подвиги, что мы возродились и несем на своих черкесках породу казачью, учим детей все великое знать и помнить, беречь священные казачьи углы и родовые подушки и коврики, а если оглянуться, то что видим? А видим везде то же, что и на родине Гамалия в Переясловской.

— А в бывшем Екатеринодаре, где улица Красная изувечена иностранными вывесками на магазинах и кафе, — подхватил нетерпимый мой пыл Михаил Сергеевич, — дома уже напо-

минают надгробия с мемориальными досками директорам советских предприятий, ректорам университетов, разного рода хозяйственникам, журналистам, а... а где же первые и стародавние знатные личности? Покажите мне. Только отцу и сыну Бабычам белая досочка, невидимая за деревьями, и все? А по станицам! Так были там атаманы, Георгиевские кавалеры, царские конвойцы, наконец? Или только мы, самые номенклатурные, самые дорогие и любимые современники? Ни одной улицы в станицах не названо именами предков. Нигде ни одного памятного столбика. Ну неужели надо быть семи пядей во лбу или героически сражаться с какою-то темною силой бюрократов, чтобы в Переясловской приносили письма и газеты (да и налоговые бумажки) на улицу имени Василия Гамалия? Или в той же Брюховецкой или Роговской зазвучала фамилия Камянского! Порою кажется, что у нас тот, кто клонится долу в честь старины, совершает чуть ли не преступление (так оно и было при коммуниках, но время-то прошло), призывает всех жить в кладбищенской печали, во всяком случае, многим начальникам народная инициатива увековечивать что-то и то мешает, как солома за шеей. Зато какие слова «о верности истории». Почитайте их неперменные заклинания на всяких совещаниях, мероприятиях, на банкетах. Можно сейчас же набрать из газет целый ворох. А посмотрите, какая диверсия дует с Запада: все перевернуть, светлую народную память вырвать, опаскудить и т.п. Чего мы так заснули? Сейчас, когда «Англия гадит», весь Запад нас унижает, в самый раз вспоминать, как сотник Гамалий «англичан уклеил». Так и писали на весь мир — «англичан уклеил». Они там застряли в Месопотамии беспомощно и были рады, когда русские устроили такую... пропаганду единства союзных войск. И только.

И Гамалию прицепили орден: Железный крест. Читать надо, господа, о русских подвигах! Так хочется прокричать. К 100-летию начала войны надо бы казакам по своему радио прочитать с гордой интонацией весть текст о «Персидском походе».

Мы еще раз зашли в наряженные под казачью старину комнаты, вспомнили всех разом, всех, давно отошедших в историю, пожарились, пожали атаманам руки и расстались с надеждой, что Василия Даниловича Гамалия, похороненного в 1956 году в Америке, навсегда удостоят, наконец, почтения в родной стороне, в криничной обители Переясловской...

И, видно, праведные казачьи души учуяли мгновение и подтолкнули Костю, сына архивариуса В. Шкуро, позвонить нам в Брюховецкую и, не подозревая о наших розысках, донести радостную весть: список казаков 1-й Уманской сотни, совершавшей Персидский поход в 1916 году, тот список, который затерялся на целое столетие, найден! Но не весь. Еще не весь.

Обрадованные, мы вернулись к воротам, зашли в ту полюбившуюся длинную саманную хату и весело «дали указание» атаманам поднести нам еще по чарке того вкусного казачьего самогона, которым мы баловались больше часа, да опять же подать на скатерть домашней колбаски и тоненьких соленых огурчиков, и мы, по-русски во всем легковверные, пребывающие в бесконечной надежде, выпили «за то, чтобы все славное, кровное, щемящее» вернулось и на этот «Казачий остров», к камышам на берегу Бейсуга и в просторную степь, и расплодилось по современным каменным куреням, и на улицах, по которым ходили еще запорожцы-переселенцы и отцы их, и внуки.

И за воротами, уже прощаясь, Михаил Сергеевич, высокий, даже могучий, басистый, вдруг проронил (как пропел) строчки из своего стихотворения «Героям забытой войны».



«Персидский поход» Василия Гамалия, 1916 год.

*Стоянки походных биваков,
Устал я от тягостных дум.
Во сне я иду на Очаков,
А то вдруг беру Эрзерум.
Устал я от тяжкого груза,
То снег, то пурга, то туман,
К вершине ползу Ялогуза
В надежде вернуть Кагызман...*

— Оно длинное... Дочитаю в следующий раз. Если Гамалий вернется сюда и нас, грешных, позовет.

— Надо бы и о Гамалии написать, — попросил я. — Если бы я был поэтом, то заголовок взял бы такой: «Поклон Переясловской из штата Нью-Джерси»...

— Это будет грустное стихотворение... До побаченья! ■

Июнь 2018 г.

Валентин Распутин

РУСЬ ВИКТОРА ЛИХОНОСОВА

До середины 1980-х годов русская литература занималась службой, как-то обойденной, не названной «ведениями»: она собирала читающий народ домой, в Россию, из географической России, разбросанной широко, почти безбрежно, из России идеологической, являющейся замкнутым пристроем, собирала на историческую Родину, лежащую глубоко, нагрето, источающую жизнь былых времен. Разумеется, не одна лишь литература осуществляла этот великий переход, подобный исходу евреев из Египта, но прежде всего все-таки она — благодаря своему влиятельному на чувства художественному слову. Там, где на «пропускных пунктах» историка задерживали с «фактом», как не подлежащим ввозу или вывозу товаром, писатель беспрепятственно продолжал свой путь и выводил из беспамятства, из заблуждений все новые и новые тысячи. Сейчас это святое для всякой литературы дело опять оставлено, «блудные сыновья» снова теряют Отечество с еще более тяжелыми последствиями, но, думается, потеряно оно не совсем, и русской литературе ничего не останется, как в пятый, в десятый раз, с каждым следующим поколением, через все завалы, заросли и мины пробиваться к душам людей, чтобы напоминать им о сыновних обязанностях.

Перечитывая Виктора Лихоносова, открывая его старые страницы и отыскивая новые (а это именно так: за старыми читающему человеку надо лишь потянуться, чтобы достать с полки, а новые по затерянности отечественного

издательского дела днем с огнем не сыскать), все больше убеждаешься, что и остается Виктор Лихоносов писателем «возвращения домой» из всех вольных и невольных пленений. «Домой» — в родное бытие, в тысячелетнюю Русь, завещанную нам предками, и «домой» — к себе, к своим лучшим истокам.

Виктора Лихоносова считали то «деревенщиком», то городским писателем, то — по последнему роману — писателем казачьего быта. А он никогда ни в какую группу не вмещался, ни на какой «литературной улице» не проживал, его всегда тянуло на простор, в древнерусскую степь с далекими горизонтами, к холмам былой славы и к местам, возвышающимся в поле русской жизни духовными святынями. Он был родом оттуда, из древней Руси, туда и влекло его неодолимо и постоянно. Им, сибиряком по рождению, написано о Сибири мало; должно быть, мелок казался ему в этом краю культурный слой, поздно встроилась Сибирь в Россию, а он чувствителен был к дальнему, невидимому, его духовная фигура оказалась заглублена в прошлое. «Сибирь, Сибирь! Родина, студеная чалдонская земля моя, зачем я покинул тебя?» — напишет он виновато в «Люблю тебя светло» и сразу же ответит: «...там, в теремах и курных избах, началось русское летоисчисление, и еще в темные годы люди нашего языка сложили песни и книги великого смысла». Туда позвали летописи и сказания, туда, где земля вся из исторических частиц и для пронизательного

взгляда освещается она заревом былого. Избрав своей второй родиной Кубань, Лихоносов и тогда сетует: «Еду из Пскова и безнадежно, по-литераторски горюю, что не кинула меня судьба в этот простой бедный край, где действительно „пахнет Русью“ и всюду слышится удивительная речь». Но поселись он на Псковщине, он бы и там горевал, и родины равноапостольной княгини Ольги не хватило бы ему, чтобы прильнуть к «самому главному». «Тебе Россия, милый мой, нужна Россия, где татары проходили, — говорит он сам себе словами Кости Олсуфьева в „Люблю тебя светло“, — вот это твое, это звучит, ты ж русский, русскому складу во как нужна древняя земля. Там и речь-то наша, когда такой нет больше нигде... это я точно говорю, нигде художнику так и не раскрыть рот в восторге. Русь!» В поисках Руси Лихоносову мало всего, что вынесено на поверхность жизни, по характеру своему он «археолог», ему надо докопаться до изначалья. Докопаться и обнаружить не захоронение, а пульсирующую жизнь. На «черепки» он не согласен. Только живое. Во всей своей исторической продолжительности русская жизнь, имея окончанием нас, наше время, должна иметь и питательные подводы к нам, неиссякаемое духовное истечение. Прошлое не ложится отработанным загложшим пластом, оно все в звуках, в муках, в напутственном обращении к нам, в натяжении, оно жизнепрочно. Надо только уметь прислушаться, поймать эти звуки, составить из них слова. «Мы же люди одного языка, неужели мы не поймем друг друга?»

В нашем отклике на единый звук, роднящий, властвующий, заставляющий то сладко замирать, то тревожно вскидываться, как при сигнале трубы, хочет Виктор Лихоносов понять, что в нем, в этом звуке, и откуда он впервые донесся; в нашей соразмерности какой-то особой мере, в которую вмещается русская душа, в сочлененности в один организм, именно этот, а не иной, ищет он разгадку нашего призвания. До физического почти соприкосновения жаждет он встречи с ушедшими, беспокоясь, а верно ли,

что они ушли, не сказав нам самого главного. Нет в русской словесности и, кажется, не было никогда другого свидетеля и художника, которым бы по следам предков и поэтов, составивших его, с подобной неотступностью стремился пройти обратным путем и отыскать тайну его (и нашего) вещества, своеобычия.

«Все русские живут не на тему», — съязвил однажды В.В. Розанов, говоря тем самым, что любят русские заниматься не своим делом. Обобщение рискованное: если бы мы «жили не на тему», то ничего бы, естественно, и не достигли. Однако не в отношении к людям, не умеющим в частном порядке сыскать себе правильное занятие, а в отношении к стране Розанов оказался провидчески прав: уже после него десятилетия, целый исторический период, живя в России, мы были отлучены от России, не знали себя, существовали в отрыве от «темы», родного духа. Мы жили с оборванными в свою могучую прошлость корнями, окормление, оберегающая благодать оттуда не поступали, на поверхности почвы с тонким плодородным слоем иссушались мы в народ беспризорный, укороченный. Ибо что такое есть в границах времени народ, как не всход из глубины, вечности новой национальной череды?! А если глубины нет, если корни оборочены вверх, в загадочное будущее, где им не за что зацепиться? Известно же: кверху корнем только сажа в трубе растет.

Виктор Лихоносов на удивление рано, в сравнении со своими сверстниками, одновременно с ним взявшимися за перо, сделался «посвященным» и вернулся домой, в родной русский мир, только-только тогда приоткрывавшийся. Писатели-«деревенщики» могли надышаться русским от полей, от лесов, от песен и языка, но ведь это еще не все, это могло укладываться и в спящую душу. Не напрасно же признавался Василий Шукшин, что, выйдя в мир, уехав в город, он поначалу стыдился там своих деревенских манер, своего языка, то есть стыдился народного в себе, пуповинного. «Странная, поздняя гордость отпущена русскому, позднее сожа-

ление и любовь к прошлому», — прав Виктор Лихоносов. И он-то знает, что это опоздание происходит, во-первых, от непросветленности, оттого, что не ударит вовремя, в юношескую пору, в душу луч и не озарит ее, пока не взялась она коркой, волнующей картиной исторического страдания предков. И, во-вторых, происходит это отставание от нашей бродячести, оттого, что не собраны мы пастырями в единый народ, как бывало прежде.

А после — вместе с подобранной по пути любовью болезненная тоска...

«Мы стояли у обрыва над водою, почти там, где стояла ранняя на Руси церковь (это из „Осени в Тамани“, одного из самых страстных обращений Лихоносова к русскому человеку). А может, мы стояли на чьей-то могиле? Та церковь неизвестно когда развалилась, и земля с тех пор стала выше. Кто жил и воевал, покоился нынче под нами, но если предашься чувству, то они, наши русские люди, не под нами, а, кажется, растворены в природе, где-то летают. Кого помним? Кто были мои праотцы: смерды? прислужники? святители? Кем бы сам был тогда: дружинником, монахом, отроком? Кто бы любил меня, в какой сече участвовал я, что за песни слышал бы, какую сторону держал в лихую пору? Наверное, ближе бы стали мне слова монаховские, текшие из уст в уста до каких-то дней: „Посмотри, брат, на отцов наших: много ли взяли с собою, кроме того, что сделали для своей души?“ Я никогда ни от кого не слышал их, а как прекрасны и поучительны они! Неужели они были сказаны? Разве это была жизнь? И что слышим мы оттуда, через тысячу лет? Что?»

Это уж наша традиция, наша тоска — страстное вопрошение, отнюдь не литературное только, желание соединить в себе весь огромный мир и одновременно поискать себя в его необъятности.

Вспоминается бунинская «Ночь» со сладким самозабвенным пением цикад на берегу моря, «храм полнозвездного неба» с царственно выделяющимся Юпитером, и те же вопросы в ночи:

кто я? что я? Как человек: «Рождение. Что такое рождение? Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно». И как художник: «В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я в мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь».

Но над Буниным, находившимся в пору «Ночи» в эмиграции, было чужое небо, потому и шире взмах его обращений, отстраненней и дальше расстояния, в которых он себя ищет. У Лихоносова же позади, впереди и вокруг только Россия, во многом неизвестная, потаенная, еще недавно бывшая за семью печатями, но всегда обтекавшая его и его слагавшая. Его ночь:

«Мы шли и молчали. Вот русская ночь, березы, бесконечная жизнь полей, и вот мы вдвоем, на секунду задержанные в потоке мирового неисчислимого времени. Вспоминалась родина со дней своей колыбели, ее бег в тысячелетия, вспоминались князья, цари и безымянные мужики, которых никто не отметил в гербовниках».

Но надо же иметь какое-то происхождение этого сверхпристального интереса к былому, отчего-то должен был он взяться, кроме того, что русский человек по долго скрываемому завещанию наконец получил богатое наследство. Но он ведь и подозревал о существовании наследства, искал его, и множество бессонных ночей провел он за записями и книгами, прежде чем сказал себе: «Иду».

Виктор Лихоносов был школьным учителем. Вот, вероятней всего, тот порог, с которого началось его хождение в Русь. В слове «преподавать», ныне изношенном, сухом, есть предлог, указывающий высшую степень действия. Не

просто «давать», «учить», «перелагать», а делать это наилучшим образом. Но чудо Пушкина, Лермонтова, затем Есенина, Бунина было так велико, не вмещаясь в «сосуд» школьного учителя, так обмирал он при чтении, заставляя, должно быть, обмирать свой класс, что книг показалось недостаточно, потребовалось прикосновение к земле, где творилось это волшебство.

Что ищут паломники, отправляясь за тридевять земель в Иерусалим, на Афон, в другие места поклонения? Чуда? Но знают жаждущие чуда, что мученической дороги к нему недостаточно, чтобы получить его, как недостаточно и факта присутствия в непосредственной близости от него. Требуется иное. Требуется искренность молитвы, перевоплощенность в нее всего человека, вкладывание в нее всей жизни. Человеку надо превратиться в некий снаряд, даже точку, пускаемую силой обращения, в односложный страстный призыв. Ему надо исчезнуть, улететь, ничего не оставив во плоти.

Нечто похожее происходит в Михайловском, Тарханах, Константинове, где сохраняется присутствие Хозяина, разлитое вокруг, витает его дух и воздух насыщен чем-то неназванным, что делало Хозяина счастливым избранником. Но и тут, чтобы коснулось это неназванное и чудотворное пришествие, требуется не физическое, а духовное приближение, опять молитва.

«...Я ощущал окрестности так, будто прощался с жизнью», — запишет Виктор Лихонос в Константинове. И молится: «О, как бы найти мне то верное слово, которое совпало бы с рус-

скою жизнью, не похожею ни на какую другую!»

Вот что вывело его к Руси — «слово, совпавшее с русской жизнью».

К летописцу Нестору хочется Виктору Лихоносову обратить все века, следовавшие после его земной жизни; к Пушкину, Лермонтову, Есенину для какого-то точного и счастливого совпадения с русской душой готов он зазывать всех своих соотечественников.

«Раз уж не достается протяжной доли избранныкам, хоть матерям бы, Арине Родионовне или простоволосой соседке отпустил Бог бессрочную жизнь. Мы бы все-все почувствовали, глядя на них, мы бы со слезами на глазах шли к их воротам от самого края земли. Шли бы и думали: „Это еще оттуда... от его времени... Это еще Русь...“».

Писатель тонкого, чуткого, даже нежного письма, которого и назвать нельзя иначе как поэт, печальный и, должно быть, последний рыцарь русской литературы, пронизательный, добрый художник, не принимающий зло ни в каком виде, ни в частном, ни в государственном, он и теперь все так же, то с сомнением, то с уверенностью обращает свои глаза вокруг: «Это еще Русь...». И не может же быть, чтобы после сделанного им (а этими строками не удалось сказать и десятой доли им сделанного), после сделанного теми, кто был с ним рядом, опять отдалилась Русь и извратилась до неузнаваемости. Не может же быть, несмотря на все старания литературных и политических фармазонов, чтобы эта работа оказалась перечеркнутой! ■



ДАРЬЯ ЗАЙКА

Родилась в 1998 году
в Тимашевске. Маги-
странтка 1-го курса фа-
культета журналистики
КубГУ. Публиковалась
в «Родной Кубани».
Живет в Краснодаре.

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ КАК ЖИВАЯ КАРТА ПО ПОИСКУ РУССКОЙ ДУШИ

Размышления к юбилею

Что делает писателя — русским писателем? На первый взгляд его национальная принадлежность — но сколько же людей пишут на великом и могучем, оскверняя и переворачивая самую суть его, отворачивая читателей от вопросов моральных и нравственных, представляющих главную ценность нашей литературы? Читатели, как известно, — люди подневольные: большинство из них гонятся за «чтением» ради развлечения, чтобы оставаться «в контексте» современной «повестки». Дальше своего гаджета и первой страницы «Гугла» они зачастую тоже не видят: да где им искать?

В этом смысле юбилей Виктора Ивановича Лихоносова — не просто дата: это праздник для всей страны и, в частности, нашей малой Родины, погрязшей в информационном шуме и наглом культурном поклепе, который носит название современного искусства. Виктор Иванович — не просто писатель, он — русский писатель, который с достоинством, свойственным «старой гвардии» мастеров слова, отстаивает право русской и кубанской литературы на вечность.

Случайный читатель может возразить: ведь столько сейчас талантливых, а главное — продаваемых писателей! И все они — тоже русские! Неужели эти люди, в разы моложе и, чего греха таить, известнее в электронном социуме, чем Виктор Иванович, не заслужили похвалы? Открываем крупнейшую электронную библиотеку, «Литрес», заходим во вкладку «Что почитать»,

видим: телепсихолог Михаил Лабковский, псевдоисторик-фантаст Игорь Валериев, неведомый широким кругам Дем Михайлов, а также небезызвестная Дина Рубина и, напротив, мало кому известная Наташа Ридаль[1]. Такие люди сейчас пишут книги, забивают книжные выкладки в магазинах и библиотеках — но разве это творцы «большой» русской литературы? Да и русской ли вообще...

Продаются — и ладно, Бог им судья: коммерческий успех никогда не был мерилем таланта русского человека. Но кто из указанных «писателей» чувствует и показывает русский характер? Здесь мы видим самые разные постмодернистские эксперименты в области дискурса о национальности и о национальном. Та же Гузель Яхина, «писательница» с тремя романами, но лауреат больших литературных премий и знатная историофобка, заявляет не менее одиозному Владимиру Познеру, что обвинения ее в национализме беспочвенны, так как она намеренно скрывает национальность своих героев в последнем романе «Эшелон на Самарканд»[2]. Ее книги — во всех «ТОПовых» списках страны, от «Читай-города» до «Некрасовки» (то есть, конечно, московской Библиотеки им. Н.А. Некрасова).

Если мы попробуем угадать национальность по стихам, например, Веры Полозковой или Дмитрия Быкова, нас ждет такое же фиаско — пишут они не о русском человеке, а исключительно о себе. Эгоцентризм как яркая черта

молодого поколения и его идейных «воспитателей» отвергает христианскую основу нашей литературы, словно расслаивая вещи, которые не нуждаются в комментариях, на новые смыслы, зачастую противоречащие сами себе.

Кто из этих замечательных, коммерчески успешных людей живет в России, получает российские премии? Еще не остыли следы «Тотального диктанта», который состоялся 10 апреля. Текст составлял и читал некто Дмитрий Глуховский, известный широкой общественности по своей первой книге — антиутопии «Метро 2033». По заверению комиссии, этот текст еще на стадии работы «растрогал до слез» и мужчин, и женщин[3]. Уверяют, что автор — мастер русского слова, и чтец отличный, и в отечественной литературе человек не последний, однако живет он почему-то в Израиле. Можем ли мы быть уверены, что он думает на нашем языке, или только продает нам смыслы, пропущенные через две мясорубки перевода?

Получается, русским делает писателя даже не язык, на котором он пишет, а нечто другое. Но откуда же тогда идут громогласные выкрики «я — русский писатель»?

Конечно, «Тотальный диктант» — давно дискредитировавшая себя акция, однако ни одна другая инициатива, призванная популяризировать грамотность, не достигает такого масштаба. Только вдумайтесь: в далеких нулевых дети и взрослые по всей стране проверяли свой уровень владения языком на текстах Льва Толстого, Ивана Соколова-Микитова, Василя Быкова... Начиная с 2010 года их ждали уже Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Павел Басинский и многие другие авторы, ключевой характеристикой которых можно считать медийность. Можно заметить следующую тенденцию: чем дольше существует эта акция — тем большую роль играет идеологическая составляющая: никаких «неудобных» тем, только беззубые или дутые тексты, не несущие

в себе четкого посыла. Делает ли участие в подобных акциях писателя, публициста, да кого угодно — признанным русским писателем? Вопрос риторический.

Можно сделать нехитрый вывод: национальное в рамках современной системы литературных координат лишено своей сути, оно превращается... в бренд. Бренд, который можно продать рядовому потребителю информации: стоит только увидеть, как существуют и о чем пишут современные литературные издания — рупор высокой культуры в России. Например, сколько литературных журналов, продолжающих традиционный для нашей истории формат, существует на сегодняшний день? А сколько из них придерживаются позиций здорового патриотизма?

Встречается мнение, что региональная журнальная пресса переживает период кризиса и эффективна по большей части, когда ее искусственно поддерживает государство[4]. Видит ли современное государство необходимость в таком количестве журналов? Вряд ли. Поэтому каждое такое издание, особенно литературное и нравственно-ориентированное, сегодня не то, что на вес золота, а даже превосходит его в цене.

Нам здесь, на Кубани, хорошо: благодаря Виктору Ивановичу у нас появилась «Родная Кубань», в полном смысле этого слова — памятник отечественной и особенно кубанской литературе без напускного (читайте, коммерческого) патриотизма. Пожалуй, что единственное в своем роде издание подобной направленности на Кубани.

Известно, что Лихоносов приехал в Краснодар в 1956 году. Как же человек, не рожденный на Кубани, смог сделать ее «родной»? Дело не только во врожденной тяге к слову, любви к родному языку, но и культуре — чертам, отличающим истинно русского писателя.

Учреждая свой журнал, Виктор Иванович с самого начала заявил: это издание для русских

людей. Сам феномен «русскости» им понимается в значении, заложенном отечественным философом Иваном Ильиным: «Неиссякаемо и неописуемо присутствуют в каждом из нас веяния наследственно окружающей нас природы, дыхание нашей национальной истории, потомственно намоленные в душе религиозные сокроища духа. Все это как бы дремлет под сводами нашего душевного подземелья и только ждет своего часа для подъема и обнаружения»[5]. Главная задача журнала и сегодня – сохранять культурное наследие Кубани, той части нашей истории, которую искажают под воздействием безразличия или коммерческого интереса.

В конце пребывания на посту главного редактора «Родной Кубани» Виктор Иванович подметил: «Мы та “лавочка”, которая принимает надбитую посуду, на наших страницах появляются цельные произведения из, казалось бы, погибших вещей. Но все небогатые источники послереволюционных кубанских воспоминаний почти исчерпаны... Все, по-моему, исчерпано». Однако журнал продолжает жить: «Родная Кубань» и сегодня – кузница по поиску даровитых и талантливых авторов, а для кого-то – даже идеологический тигель, а это значит, что начатые Виктором Ивановичем изыскания продолжатся.

Однако проблема, отмеченная Лихоносовым еще в 2016 в интервью для «Новой газеты Кубани», осталась: «Местные писатели пишут о чем угодно, но не о насущной кубанской жизни. Ни одной злободневной статьи, ни одного глубокого очерка в редакцию не попадало. <...> Критики опережают прозаиков и поэтов, но эти критики пишут о проблемах всероссийской литературы и предпочитают печататься в Москве»[5]. Много ли среди таких авторов – не дилетантов, даже не талантливых дилетантов, не писателей, а именно русских писателей? В попытке угнаться за «трендами» космополитизма, в плену стереотипа о «высокой столич-

ной культуре» молодые авторы отрываются от родной земли, и вряд ли кто-то из них напишет столь же проникновенные строки, как Лихоносов в своих повестях, рассказах и очерках. То, что сегодня называют «глубоко личной» прозой по глубине своей не сравнится ни с деревенским очарованием «Чалдонок» (а это, на минуточку, 1969 год!), ни с письмами, например, из сборника «Тут и поклонился» (2016 год).

Может возмутить сравнение писателей «старой школы» с теми, что родились в Российской Федерации: другая экономическая формация, другая социокультурная матрица, а, стало быть, иное мышление. Литературный процесс, однако же, непрерывен: да и многие ли современные писатели могут похвастаться, что наградили целый город емкой метафорой? А ведь наш Краснодар в наших сердцах – это «Наш маленький Париж»!

Итак, кто же он – русский писатель? Это не премия, которую выдают самому словоохотливому или продаваемому автору, не соревнование в пошлости прозы или примитивности лирики. Русским писателем может стать только поистине русский человек, чтящий традиции классической литературы, любящий и помнящий свою Родину и уважающий веру, что послужила основой нашей культуры.

Повнимательнее присмотримся к текстам Виктора Ивановича.

Главным героем у Лихоносова выступает время – неумолимое, мудрое, нетерпимое к любой неправде. Его можно описать словами из эссе «Поклон читальному залу»: «мгновенные вспышки истории великого мира» и «история простенькой жизни» [6]. Неразрывная связь человека и народа, личного и общественного, прошлого и настоящего – важная черта в прозе Виктора Ивановича. Особенно это заметно в повестях, раскрывающих истоки творчества поистине национальных поэтов: Александра Пушкина («Элегия»), Михаила Лермонтова («Осень

в Тамани»), Сергея Есенина («Люблю тебя светло»)...

Не менее трепетное отношение у Лихоносова к современникам, живым и ушедшим. Художественное тесно сплетается с публицистическим, например, в «Письмах» — литературной панихиде по писателю Юрию Казакову. Даже в этом тексте чувствуется связь времен, выходящая за пределы воссозданного хронотопа: автор упоминает Куприна и Чехова, волнующихся перед встречей с мастером, то есть Толстым, и сравнивает себя с ними. Вспоминаются и Евтушенко, и Паустовский, и другие мэтры, пропущенные через личное духовное восприятие.

Можно заметить, что на лихоносовских страницах часто встречается мотив путешествия или, точнее, пути. Особое место занимают отдельные города, если угодно, места силы наших творцов, писателей, философов. У самого Виктора Ивановича тоже есть такое особое место — поселок Пересыпь: «В Пересыпи я живу отшельником. Целое событие для меня, если выезжаю в станцию (четыре версты) или кто-то появится в моем дворе. Ведь только в селе еще можно просидеть несколько вечеров без света и почувствовать всю прелесть и неудобство старых российских веков. В городе после обеда меня что-то выталкивает на улицу»[7]. Крайняя биографичность и полная откровенность с внимательным читателем трогают душу, обрисовывают одновременно и прискорбное состояние современной культуры посёлка, и безмятежную органическую связь с исконно национальным духом, условно противопоставленного суете города.

Вернемся, однако, к «Письмам» — именно в них звучат слова, написанные Казаковым, но заветом проходящие через все творчество Виктора Ивановича: «Вообще же я бы вам порекомендовал сейчас попробовать свои силы на крепких радостных рассказах. <...> Она, то есть радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, но

оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом» [8]. Эта мысль, как и мысль о любви в евангельском ее облики, связывает все рассказы, повести и эссе Лихоносова, начиная от «Брянских» до крайних — но не последних — произведений.

На первых Лихоносовских чтениях классик дал зрителям и чтецам такой совет: «Все определяет любовь! Не пишите без любви — плохо напишете. Даже когда вы будете критические вещи создавать, все равно вас будет вести любовь к жизни, исходить вы будете из того, что жизнь надо защитить и облагородить»[9]. Сюжеты Лихоносова зиждутся на христианских заповедях, на любви не коммерческой, не плоской и тем более не плотской, а на искренности, нежности ко всему человечеству. Такому писателю, как Виктор Иванович, не нужно гнаться за штампами «модный» или «современный» — включать в тексты «повестку», критиковать политический режим: произведения его наполнены той любовью, которой не хватает в нашей жизни, и которая сама по себе сможет сделать мир лучше. Можно сказать, что это — мягкая, но все же сила.

Христианское начало чувствуется во всех текстах Виктора Ивановича, но особым образом отражено в повести «Тут и поклонился»: «Верю, что не случайно появился я на свет в сибирской глуши. Зачем-то спасал меня Бог от смерти и дал мне с молодости благодетельных друзей; потом пустился я в скитальческую путь-дорогу, покорен был книгами, великими именами, так возлюбил старину, что кое-кому казался юродивым; зачем-то писал за границу русским, почитал в них Россию православную, царскую, какой никогда больше не будет; зачем-то облюбовал уголок под Таманью и живу здесь подолгу»[10].

В произведении раскрывается еще один образ, важный для понимания лихоносовской философии — это русская женщина, в которой

непременно отражается и свет Богородицы, и частичка самой России. В тексте можно встретить очевидные смысловые пары: две туристки («расколота Россия»), монашки и святые, а также важнейшие женщины в судьбе самого Виктора Ивановича: «...позабыв о присутствии молившейся сбоку эфиопки, услышал (вспомнил) я бабушкин и материн голоса: они меня учили молитве в Сибири, как приходил Христос к Матери: «Мати моя, ты спишь или так лежишь?»

Виктор Иванович Лихоносов — именно что

русский писатель и по масштабу своего творческого порыва, и учитель жизни для грядущих поколений. Классик словом вырубил себе место в отечественном литературном процессе как во времена, когда литература формировала общественное сознание, так и в момент слома эпох, «форматирования» русской культуры на новый лад. Теперь, в период смыслового разброда, тотального неверия всему и вся, произведения Лихоносова является живой картой по поиску исконно русской души — отражением самой ее сути, музыкальной гармонии. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Что почитать? // ЛитРес. — URL: <https://www.litres.ru/chto-chitat>.
2. Гость Гузель Яхина. Познер. Выпуск от 22.03.2021 // Первый канал. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9iBcoz5NHRQ>.
3. Текст Глуховского для «Тотального диктанта» растрогал до слез // Московский комсомолец. — URL: <https://www.mk.ru/culture/2020/11/10/tekst-glukhovskogo-dlya-totalnogo-diktanta-rastrogal-do-slyoz.html>.
4. Вичкитова, А. Роль «толстых» журналов в современном русском литературном процесс. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tolstyh-zhurnalov-v-sovremennom-russkom-literaturnom-protsesse>.
5. Виктор Лихоносов: Юбилей без книг // Новая газета Кубани. — URL: <https://ngkub.ru/intervyu/viktor-likhonosov-yubilej-bez-knig>.
6. Лихоносов, В.И. Поклон читальному залу. — URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/publitsistika/publitsistika_2737.html.
7. Лихоносов, В.И. Одинокие вечера в Пересыпи. — URL: http://www.darial-online.ru/2000_1/lihonos.shtml.
8. Лихоносов, В.И. Письма // Родная Кубань. — URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/na-styke-zhanrov/na-styke-zhanrov_4707.html.
9. Висицкая, Е. Первые Лихоносовские чтения // Родная Кубань. — URL: https://rkuban.ru/conf/lihonosov/tvorchestvo-vi-lihonosova_87.html.
10. Лихоносов, В.И. Тут и поклонился // Родная Кубань. — URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/publitsistika/publitsistika_1647.html.



ТАТЬЯНА РАДИОНОВА

Родилась в 1988 году в городе Армавире. Окончила филологический факультет Армавирского государственного педагогического университета. Работает в центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской в городе Армавире.

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ПРОЗА

К 85-летию Виктора Ивановича Лихоносова

Я вот так останусь иногда один, вспомнится это лето, поле, три дороги — и счастлив бываю снова, потому что душа моя отозвалась на самое колыбельное, и, значит, не высохла она, значит, не умерла она в нас, и в урочные минуты все та же русская, памятливая. А уж что в душе, то и свято...

Виктор Лихоносов. «Осень в Тамани»

Мое знакомство с творчеством Виктора Ивановича Лихоносова случилось в школьные годы. И, конечно, это был «Наш маленький Париж» — удивительная сказка-быль, наполненная любовью к своему народу и Родине, с неповторимым колоритом дореволюционного Краснодара. Тогда я еще не знала, насколько созвучной и близкой моему сердцу окажется вся проза писателя.

Произведения Виктора Лихоносова открывают читателю «родственные чувства земли своей»[5]. Писатель рассказывает о самом простом, будничном, но в то же время о самом важном в жизни для него и каждого человека: семье, близких людях, родном крае. В неторопливости авторского повествования раскрывается красота русской природы, яркий казачий колорит кубанских станиц, уютность сельского быта с родной простотой брянских стариков, деревенскими заботами чалдонок. В каждой строке чувствуется искренняя любовь главного героя к укладу крестьянской жизни, к уходящему поколению «старой России». «Как хорошо-то у них, как приятно проходить по двору с пряслицами, опять видеть корову под шелко-

вицей, бабку за дойкой, старика, сидящего на земле, приморившегося за день на выпасе...» [2, с.6].

Неповторимые самобытные крестьянские характеры нашли художественное воплощение на страницах произведений Виктора Лихоносова в образах сибирячек Вари и Оньки (повесть «Чалдонки»), добродушной Марей (рассказ «Марей»), брянских стариков Терентия Кузьмича и Марии Матвеевны (рассказ «Прощание с брянскими»). Трудолюбие и простота нрава этих героев, готовность откликнуться на чужую беду — типичные черты того русского характера, о котором неоднократно говорили в воспоминаниях о своем деревенском детстве Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин. Это чувство Родины сближает произведения Виктора Лихоносова с творчеством писателей-«деревенщиков».

Лихоносов остро ощущает сопричастность к вековой судьбе Отчизны, ее очарование и печаль: «Господи, какую скорбь красоты и истории ты мне даровал!»[7]. Авторский взгляд обращен в прошлое, но это не просто воспоминания — это диалог со временем, устремленный в будущее. Россия предстает в пространственно-временном движении, в неразрывной связи настоящего с прошлым. Во время странствий по памятным местам родной земли, современным улицам Краснодара и станиц перед взором автора вновь оживает история, встают события прошедших веков. «Все меняется. Во время высоких вод и ветров дорога за темрюкским мостом заливалась на семь верст, и нынче не

понятно, как ехал в аллее дремучих камышей поэт Лермонтов. Наверное, он сворачивал к Дубовому рынку (лесному взгорью) и спускался к Сенной с холма, минуя нашу Пересыпь»[7].

В былом своего отечества Лихоносов находит множество прекрасных типов: древнерусских князей, священнослужителей, казаков, обывателей Екатеринодара, белогвардейских офицеров, писателей; он видит людей с высоким духовным уровнем, который, к сожалению, утрачен современными поколениями... И он искренне скорбит об этом: «Истончилось все. Ушли те люди»[9].

В своих размышлениях Виктор Лихоносов неоднократно задает вопрос: куда девались коренные черты русского человека? «Старинные картинки и фотографии обличают наше время степенной важностью и родословием — кажется, так серьезно, обидчиво и неодобрительно смотрят на нас дамы, сановники, офицеры и послушные дети. Никого похожего на них нету на улицах»[7]. Писатель ищет причины происходящего и видит, что они кроются в забвении своего прошлого. «Надо чтить и любить родное, вековое, тысячелетнее, тогда все остальное будет в сохранности и почестях», — говорит он в одном из интервью.

Такой сыновьей любовью к Родине, истории своего народа рождено эпичное произведение, достойное звания «летописи казачества». Над романом «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» Виктор Лихоносов трудился с 1978 по 1983 год, собирая по крупицам архивные данные, воспоминания старых жителей станиц, казаков-белогвардейцев, вернувшихся из эмиграции в Краснодар. На страницах романа автор воскресил старую казачью Русь с выразительным темпераментом героев, неповторимыми обычаями, традициями, заботами, праздниками и поведал трагедию рассказывания и вынужденного расставания с Родиной.

«Великие чудеса, коими награждает нас жизнь, мы носим в себе и поделить ни с кем не можем. Чудо было в том, что он все же приехал домой...»[6].

Виктор Лихоносов, остро чувствующий разлуку с отчим краем, быть может, как никто другой из писателей, смог тонко передать тяготы жизни вне Родины. (Эта мысль неоднократно прослеживается в произведениях автора: «Не будет утешения никому, покинувшему свой дом»[7]). И волнующие ощущения человека, увидевшего свой город через долгие годы отсутствия: «За сорок лет, которые Дементий Павлович Бурсак провел на чужбине, все разрослось, обновилось и изменило домашний облик»[6]. Каждый читатель понимает: «Наш маленький Париж» стал не только отражением жизни Кубани на протяжении XX века, но и рассказом о том «как проходит жизнь человеческая»[3].

Соединение искренней любви, восторженности красотой малой родины и России в целом, но в то же время грусть об утрате родового и исторического сознания придают повествованиям Виктора Лихоносова особый лирический характер, который ярко проявился в произведениях «Люблю тебя светло», «Осень в Тамани», «Элегия», «Одинокие вечера в Пересыпи». В этих повествованиях с сильной тревогой звучит тема быстротечности времени не только для каждого человека, но и всего сущего на земле. Всё, что сердцу дорого, исчезнет, забудется: «Калабатка умрёт, бульдозеры сравняют холмы. Зачем гадать, как зарастали селения шумеров или греков? Вот так же»[7]. Наряду с чувством грусти о неотвратимости конца повествование наполнено благоговейной любовью к жизни: «Я высвободил руки и лежал крестом. Степка сидел рядом. Земля, свет небес, время, имена, молитвы и песни — все проникало в меня, и я перестал искать слов, любое было бы беднее души...»

Писатель смотрит на окружающий мир глазами ребенка, но в то же время его слова — это слова умудренного летами человека: «До чего же короток наш миг на земле, и мы не успеваем обнять все сущее и пожить для высоких дум и возвышенного причастия к траве и звездам» [8].

Валентин Распутин в послесловии книги «Наш маленький Париж» назвал память главным действующим лицом романа. Думается, будет справедливым сказать, что вся деятельность Виктора Лихоносова как писателя, редактора журнала «Родная Кубань», патриота Отечества — это восстановление и созидание

памяти. Памяти чистой и светлой, от которой «молнией проносится внутри весь трепет жизни, и хочется быть талантливым и мудрым, чтобы все постичь, воплотить и отдать душу другому» [4, с.319].

В одной из своих статей Владимир Бондаренко назвал Виктора Ивановича Лихоносова «очарованным странником русской литературы». Эта очарованность прошлым русского народа, природой, людьми делает прозу Виктора Ивановича доброй, чистой и такой необходимой в современном неразумном и порой жестоким мире. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Варламов, А.Н. Дом в деревне // Новый мир. — 1997. — № 9. — С. 3-36.
2. Лихоносов, В.И. Брянские. Люблю тебя светло: Повести, рассказы. — М., 1985.
3. Лихоносов, В.И. Былое. [Электронный ресурс]. — <https://www.youtube.com/watch?v=pWwR6arzvM0>.
4. Лихоносов, В.И. Люблю тебя светло. Избранные произведения Т. I. Рассказы и повести. — М., 1984.
5. Лихоносов, В.И. Интервью ГТРК «Кубань». [Электронный ресурс]. — <https://www.youtube.com/watch?v=T42YNuvUDrY>.
6. Лихоносов, В.И. Наш маленький Париж. [Электронный ресурс]. — http://www.imwerden.info/belousenko/books/likhonosov/likhonosov_paris_1_2.htm.
7. Лихоносов, В.И. Одинокие вечера в Пересыпи [Электронный ресурс]. — <http://ww.novayagazeta-nn.ru/klassiki-i-sovremenniki/viktor-lihonosov/odinokie-vechera-v-peresipi.html>.
8. Лихоносов, В.И. Осень в Тамани [Электронный ресурс]. — <http://www.rospisatel.ru/osen%20v%20tamani.htm>.
9. Лихоносов, В.И. Я — писатель русский по чувству. [Электронный ресурс] // Молоко. — 2002. — № 1. — <http://moloko.ruspole.info/node/654>.



ДМИТРИЙ КОВАЛЬЧУК

Родился в 1970 году в Армавире Краснодарского края. Кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной филологии и журналистики, директор Института русской и иностранной филологии Армавирского государственного педагогического университета, автор статей о русской литературе XX века. Живёт в Армавире.

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ

Записки о Викторе Лихоносове – подвижнике русского слова

Вначале было слово и слово, было дело. Так говорит с нами через столетия текст священного Писания. Действительно, перед любым делом мы составляем в сознании и душе мысленный образ конечного продукта своей деятельности. И он предстаёт нам в речемыслительных формулах. От того, какими словами мы его представляем, описываем себе и формулируем в качестве идеального представления о конечной точке его воплощения, зависит и сам облик, и воплощение, и, если позволите, существование, жизнь нашей мечты, реализуемое в конкретных делах, результатах нашего труда.

Действительно, одни слова нас приподнимают над землёй, дают силы жить, бороться, выпрямляться, казалось бы, в немыслимых, а порою почти безвыходных жизненных ситуациях, другие, напротив, «приземляют», снижают наши устремления, порою не откликаясь ни в душе, ни в нашем жизненном пути. Есть нечто, существующее помимо наших представлений и желаний, по своей внутренней силе и энергетике, энергии смысла, энергии значения. И это, выраженное в русском слове, приобретает сакральный священный смысл. В данном случае я говорю о разнице смысла, вкладываемого нами в значение того или иного слова, и его исконного, исторического, подлинного, сакрального значения.

Например, современное значение слова «подвиг» как героический, самоотверженный поступок свидетельствует о единичности, неповторимости явления. А между тем в древнерусском варианте подвиг был родственен понятиям «движение», «подвижник». То есть в качестве подвига выступало действие длительное, постоянное. Подвиг постничества, подвиг молитвы,

подвиг юродства. Это своеобразное неукоснительное следование единожды взятым на себя обязательствам. Без перерыва и отдыха, без права на ошибку.

К творческому наследию, да и к самой личности Виктора Ивановича Лихоносова следует относиться именно в старом, исконном, глубинном понимании русского слова. Как к подвижнику, совершившему и совершающему свой каждодневный подвиг. Подвиг писателя, гражданина, человека. Подвиг настоящего мужчины.

* * *

Как все великие русские классики современности (В. Распутин, В. Белов, В. Шукшин, Ю. Бондарев и многие другие), В. Лихоносов нигде и никогда не свернул с дороги служения Истине, единожды выбранному для себя в юности пути, не предал открытого и искренне любовного отношения к окружающему миру и людям. В одном из интервью В.И. Лихоносов сделает признание о том, что именно питало его талант и не давало свернуть с избранного пути. Это были безусловная искренность и чистота помыслов, чистота отношения к миру и людям: «Надо чтить и любить родное, вековое, тысячелетнее. Тогда и всё остальное будет в сохранности и в почести».

Речь в данном случае о чистоте подлинной. В моём понимании чистота есть важнейшая составляющая человеческого существа. Чистота ведь состоит не в том, какими мы себя позиционируем перед другими, а в голове, в душе человека, в том, какими мы предстаём, оставаясь наедине с собою, когда не надо казаться лучше, какими словами мыслим.

Чистота души и мыслей — ступень к обретению настоящего счастья, единения с тем человеком, который тебе дорог, с кем сердце бьётся в унисон. Чьими глазами хочется смотреть на мир и чьими желаниями строится жизнь в согласии и счастье. Обретая чистоту для себя, сохраняем душу чистой и открытой для любви и счастья.

Таким образом, чистота есть качество и проявление внутреннего плана, выраженное в словесных формулах. Что же надо, чтобы сохранить эту самую чистоту слова, простого русского слова? Любовь.

Настоящая любовь безусловна, без границ и обстоятельств, без условий. Ненужный и отвергнутый, нестатусный и непафосный, ты всё равно искренне желаешь добра и счастья. Молишься и просишь здоровья и удачи. Ибо сама по себе любовь есть не каждодневно, не постоянно, не ежемоментно осознаваемое счастье. Можно жить в счастье и не осознавать его присутствие. Ибо оно есть желание тепла и комфорта любимому тобой человеку, сохранение чистоты отношений с окружающим миром и людьми, чистоты языка, на котором мы общаемся. Всё взаимосвязано.

Любовь без статусов и границ. Без всяких условностей. Даже когда ты не нужен.

Но одновременно любовь есть труд. Каждодневный, постоянный, одухотворённый труд как высший нравственный ориентир, как нравственная константа, не подверженная сомнениям и переосмыслению. Нравственная константа как абсолютная ценность.

Ценность жизни. Ценность языка. Ценность русской речи, в которой мы выражаем свои чувства, мысли, устремления, проектируем жизнь. Лихоносов об этом скажет предельно просто, но с искренней горечью и болью. В статье «Светлый князь» он говорит о странном чувстве: «Поразительное ощущение остается от чтения зарубежных русских журналов, которые издают

на собственные деньги дети беженцев Гражданской войны. Наши материковые журналы и газеты гуще талантливостью, сиюминутным присутствием жизни, проблем, а те простенькие, собранные словно из тряпочек портнихи, но вот именно как сшитые мамой или бабушкой из кусочков настольные простыночки или наволочки для думочки они... домашнее, семейно-роднее. Отчего же наши издания не согревают родством? Почему русские иностранцы старомодно бережны к истории, коренные жители России — обозленно или тупо равнодушны?»

Да, наверное, потому, что любовь их к далёкой России-Родине безусловна. И любовь к ней стала не сопутствующим каждодневным приложением к жизни, а ежедневным, ежечасным трудом. Трудом восхождения к далёкой, но родной России. Трудом завоевания её внимания и заботы о далёких сыновьях. Не потому ли раньше легче шли на казнь ради высокой идеи, быстрее принимали решения, проще двигались к тому, что мы сегодня именуем подвигом. Как точно это выражает В.Лихоносов: «Татарское иго? Но нет, и татарское иго легче принимается душой, так как оно понятнее. Татары не трогали, по крайней мере, нашей религии. Эпоха казней Иоанна. Он был мучителем во имя идеи, он был и ее мучеником. У нашего правительства нет идеи. После казней Иоанн по ночам во власянице бился о каменный пол монастырской церкви, казнил, не прячась за букву закона. Всю ответственность он брал на себя. А теперь кто возьмет на себя ответственность? Смутное время наше можно сравнить только со смутным временем начала Дома Романовых».

И размышления о вечном, о безусловности душевного порыва, о Родине и судьбах народных заставляют проснуться в душе русского по духу В.И.Лихоносова высокое стремление к чистоте проявления любви, без отягощения опытом жизни, без знания превратностей судь-

бы, постигнутого опытом человеческого греха, печальным опытом отпадения от искренности: «Как захотелось стать молодым! Ничего запретного не знать, любить, обманываться насчёт любви нескончаемой, страдать. И впервые читать “Лику” Бунина».

* * *

Ещё А.С. Пушкин заложил основы подлинного уважения и любви к прошлому как фундаментальной базы для будущего. Подлинная народность, по Пушкину, невозможна без элементарного самоуважения, начинающегося с безусловного внимания и уважения к предкам. Писатель скажет об этом неоднократно: «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории, ни славы её. Но не похвально ему за русскую ласку мараить грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев»; «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». Это нельзя ставить в достоинство ни критику, ни рядовому гражданину.

Столь же категоричен в отстаивании народных идеалов и В.И. Лихоносов: «Ругая нынешнюю литературу и всё оглядываясь куда-то в заморские пределы, мы сами себя обедняли, потому что свобода изложения не в том, чтобы выкатывать на родные наши неурядицы или порою крыть нас матерками, а в том, что освобождение в творчестве высокой страдающей души ничем не может быть остановлено, если душа есть и она жаждет истины, а не кукиша».

Это путь к самооплеванию и самоуничтожению. Любя и глубоко уважая В.П. Астафьева, в 1991 году, не идя против собственной совести, В.И. Лихоносов скажет переметнувшемуся в чужой стан писателю горькие, но важные и справедливые слова: «Ты делаешь вид, что выхо-

дишь из компании Бондарева и Распутина, ну и, конечно (я знаю о твоей ненависти), вытираешь ноги об А. Иванова и какого-нибудь провинциального писателя-дуролома, но на самом деле исторически ты уходишь от А. Хомякова и И. Киреевского, К. Леонтьева, К. Победоносцева, В. Розанова, И. Ильина, Б. Зайцева и И. Шмелёва.

Что с тобой случилось, Виктор Петрович? Прости, но я думаю — виновато твоё безбожие. Ты в Бога веришь литературно, как-то от ума, хотя ты в своей жизни страдал столько, что душа твоя только в Боге и могла бы успокоиться, отсюда твоя постоянная остервенелость».

* * *

В современном обществе чудовищно снижен интерес к классической литературе. Здесь лучше Распутина и не скажешь: «Стандарты по литературе все больше и больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова, Блока, Есенина. Подмены, подмены, подмены... И вот уже в школьных программах напротив одного ряда другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения: напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина — Высоцкий, напротив Достоевского — к примеру, Сорокин, напротив Толстого с “Войной и миром” свой Толстой — к примеру, Войнович с “Чонкиным”, напротив Белинского — Ерофеев... Зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пеленок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы — так чего же тогда и ждать?!»

Как созвучны мысли В.И. Лихоносова: «И вот череда томов Ю. Нагибина. Нету таких же томов Ф. Абрамова, В. Белова, Евг. Носова. Нагибин — насквозь книжный, мертвый писатель,

а к концу жизни ещё и похабный. Всё время возбуждают громкие разговоры о ксенофобии, шовинизме, между тем именно в книжных магазинах чувствуешь острее, как программно, до минимума, сведены издания национальной русской литературы. И. Бродского, С. Довлатова, американца Ирвина Шоу и перепечатают в разных вариациях, насильно расталкивают по всем городам.

Русское на своей земле терпит крах. Когдаходишь в Москве в магазины православные, Русь снова открывается перед тобой. Русь, Русь! Родина, заветная, дыхание чувствуешь тотчас. И зайдид на Мясницкой в “Глобус”, на Арбате в Дом книги — ощущение космополиса, чертовщины. И хватают, хватают мемуары Билла Клинтона, биографии Маргарет Тэтчер, Черчилля и проч. А русского мало, и оно скорбно лежит. У кого денег нет, а кто уже и перестал быть русским».

Стремление к сохранению русской классики как абсолютного идеала — тоже способ борьбы за чистоту русской жизни, против распада души, вслед за которой и перестают быть русскими. Выступая на юбилее В.И. Белова, В.И. Лихоносов скажет об этом прямо: «Писателей у нас много хороших, но родных писателей мало. Мы сейчас живём в такое время, Россия переживает такие трагедии, что нам нужны родные русские люди. Во всем. И в искусстве тоже».

Материнское молоко, взрастившее сына, позволяет ему научиться любить не только женщину, давшую ему жизнь, но и родную землю, на которой вырос, страну, его вскормившую. Об этой неразрывной связи говорил писатель, обращаясь к своему другу В.И. Белову: «Спасибо, Василий Иванович, за то, что ты стал и мне родным писателем русским. За то, что я не просто тебя читаю, а всегда нахожу там свои струны. И за то, что твоя любовь к матери так вольно переливается в любовь к матушке-России. И ты Рос-

сию любишь также нежно, горестно, с болью. И также никогда ей не изменишь».

* * *

Человек так устроен, что стремится к яркому, броскому, внешне красивому. Лишь жизнь и годы таких наказывают, когда в испытаниях, бедах, потерях он осознает, что неяркое, но верное, пожертвовавшее внешней, видимой красотой ради рождения детей, семьи, но взамен получившее внутренний свет, тепло души и было всегда, всю жизнь тем самым, на что всегда можно было рассчитывать, что не предаст и не бросит. И Имя ему — Любовь и Верность. Верность человеку, верность родителям и тем, кто нам их заменил, верность русскому слову. А популярные среди молодёжи рассказы о химии, о Фрейде, о том, что любовь живёт три года и она только гормоны и страсть, — чушь.

У нравственно здорового человека есть ответственность, если он, конечно, сформировался как мужчина. Не по внешним половым признакам, а по внутреннему содержанию. Тогда любовь-страсть постепенно переродится в любовь-привязанность, любовь-уважение, любовь-благодарность, а их основа — нормальный человеческий разговор на нормальном, понятном, чистом русском языке. Разговор двоих. Разговор с самим собой. Разговор с Богом и окружающим миром.

И эта особенность окружающих не уметь увидеть неяркое, но своё, родное, теплое огорчала В.И. Лихоносова: «Почему люди так желают родства, близости, гармонии в жизни и кого попало выбирают себе в спутники (пусть и на короткий срок) в книгах?

В одиночестве, без газет, без ультрафиолетовых вспышек телевизора, без необходимости спорить, защищать свои вкусы и «точку зрения» в кабинетах и читаешь, и чувствуешь под Божеским дыханием, и зовёшь к себе всех, с кем бы

хотел осчастливить свои часы или разделить ясные и такие утешительные мгновения родства с русскими тенями».

В.Г. Распутин признавался, что именно труд писателя, литературное творчество открыли ему истинные глубины русского языка, помогли искоренить стеснение от деревенского произношения, постичь поистине безграничные высоты народной речи. Валентин Григорьевич скажет: «Отказ от собственной цивилизации и вековых национальных ценностей предвещал для России неизбежные потрясения, но что они будут такими, какие случились, мы боялись додумать. А следовало. Человек, в нравственном и духовном понятиях теряющий свою теплокровность, опасен». Сохранение русского языка и чистоты русской речи — способ сохранения теплокровности, а значит, — преодоления отчуждённости людей друг от друга.

Но это и есть та самая нравственно одухотворенная работа души. Стремление к достижению через любовь гармонии: с собой и людьми, с окружающим миром. А как закономерный итог конечной точки такого развития человек обретает ту самую нравственную константу, неподвластную ни времени, ни жизненным испытаниям.

Но любой срыв, отход от вековых традиций вызывает в душе Лихоносова скорбь. Ещё в 1984 году, размышляя о высоте нравственного звучания русской поэзии XIX столетия, Виктор Иванович горько запишет: «...Вот они были русскими писателями. Всё с тех пор разрушено. Родное чувство утеряно. Русские ли мы?» Но писатель лишён пессимизма, ибо есть путь для сохранения исторической памяти и теплокровности души отдельно взятого человека. И путь этот, по Лихоносову, состоит в единении с русской классической литературой: «Чтение — это неторопливое участие души в событиях и поворотах судеб героев. Так сейчас почти никто не чита-

ет. Растянуть время чтения — значит замедлить расставание с эпохой, которая только в книге и есть. Когда читаешь быстро и много, душа не успевает пропитаться. Не потому ли мы такими дёргаными стали, что рвём из книг одну информацию? Чувство как бы утрачено за ненадобностью. Да и в книгах-то нынешних, если говорить правду, чувства тоже нет. Одни проблемы и эта самая информация». Поэтому и рецепт жизни для современного человека предельно прост: не торопиться. Дать душе прочувствовать, погружаясь в нравственный мир русской литературы.

* * *

Я вспоминаю об одном эпизоде, оказавшем на меня глубокое впечатление. Это было примерно в конце 2000-х, когда комитет по образованию Государственной Думы РФ проводил мероприятие в филармонии г. Кисловодска, посвящённое формированию межнационального согласия в молодёжной среде. Дежурные выступления о процентном соотношении проведённых мероприятий навевали скуку. Зал на 2/3 был наполнен молодёжью северокавказских республик, по преимуществу исповедующих ислам. И тут на трибуну пригласили выдающегося калмыцкого поэта и общественного деятеля Давида Кугультинова. С детства помню его по передачам советского центрального телевидения. Ещё достаточно молодым, он возглавлял комиссию по делам национальностей Верховного Совета народных депутатов СССР.

На сцену с огромным трудом при помощи помощников за 1,5 минуты взойшёл глубокий старик, в котором легко узнавался тот прежний Д. Кугультинов. Но когда он начал свою речь, зал замер. В воцарившейся абсолютной гулкой тишине он рассказал историю знакомства и служения его друга, православного митрополита Ставропольского и Бакинского Гедона. Далее рассказ был от первого лица и посвя-

шался истории начала служения Богу будущим митрополитом.

Это было в год депортации калмыцкого народа. Мы вдвоём с мамой жили около железнодорожной станции, на которой останавливались поезда, везущие депортированных в Сибирь. Крики, стоны, просьба о куске хлеба и кружке кипятка заставили меня сбегать домой за чайником. Раньше на каждом вокзале можно было разжиться кипятком из общего чана. Набрав воды, я пошёл к вагону, но остановился перед оцеплением. Круглолицый рыжий красноармеец с винтовкой сурово смотрел на меня. Испугавшись, я помчался домой. Плача, рассказал всё маме. А она попросила подойти к красноармейцу и просто улыбнуться ему. Когда на дрожащих ногах я подошёл вновь к оцеплению, нашёл силы и улыбнулся. Я увидел, как суровое круглое лицо расплылось в ответной улыбке и превратилось в яркое солнышко. Он сделал полшага в сторону, и я юркнул к полуоткрытой двери вагона. Через минуту женская рука протянула мне пустой чайник. Пока стоял состав, мне удалось сделать 7 походов к вагону. В этот день я понял, что буду служить людям и избери такой путь, который будет свидетельством чудес преображения человека.

Дальше Д. Кугультинов прочитал пронзительно трогательное стихотворение своего сочинения о русской женщине, протянувшей последнюю корку хлеба, оторванную от своей семьи, в вагон с депортированными. Напоследок женщина перекрестила отдаваемый кусок хлеба, спасший жизнь голодному переселенцу. Завершил рассказ поэт строками Пушкина.

Спускаться со сцены было тяжелее. Три минуты долгого пути к первому ряду зал стоя оглушительно аплодировал ему, пока Давид Кугультинов не сел при помощи сопровождающих в кресло. Такова сила русского слова, произ-

несённого буддистом о православном подвиге служения людям русского священника и митрополита в более чем наполовину мусульманский зал.

Как же это созвучно мыслям В.И. Лихоносова об особой роли писателя в России. Высшей нравственной меркой он отмечает всё, что связано с теми, кто по долгу дарованного Богом таланта обязан блюсти и собственную человеческую чистоту и думать о том, какое влияние он произведёт на окружающих. В «Записках перед сном» он с горечью скажет об обратном примере. Действие происходило в Пятигорске на банкете после митинга памяти М.Ю. Лермонтова: «Душа моя всё-таки никогда не дремлет. Что-то смущало её, отчего-то страдала она, скучала, чем-то была унижена. Во всем было заметно убожество, распад и разлад личности, отсутствие подлинности, ума, игры воображения, задумчивости и совести. Иногда я думал: окажись какой-нибудь умный юноша в зале, послушай он эту пустую компанию титулованных писателей — что он мог вынести для себя? Что могли подумать о нас люди во время митинга у памятника М. Лермонтову? Я прожил жизнь в провинции, я меньше москвичей видел и слушал выдающихся умниц, но мне было теперь стыдно. Российские дни литературы нигде, может быть, особой высотой не отличаются, но на этот раз они пустотой превзошли все».

Но размышления о сути человеческой личности, о перспективах роста души приводят Виктора Ивановича к важным наблюдениям в его произведении «Тут и поклонимся»: «Душе моей не досталось того чувства тихого приближения, которое испытали все древние странники. Туризм укоротил преклонение. Нет больше на свете терпеливых паломников. Я с ободрением думал на Святой Земле о путниках «вре-

мен старых». Думаю и сейчас — дома, на берегу Азовского моря».

И важные размышления о вечном и важном сопровождают любой эпизод: «— Ты бывал в Даниловом монастыре?

— Один раз. Перед тысячелетием.

— Когда монастырь передали патриархии, поставили наместника, появился вскоре какой-то старичок. К нему вышел игумен. После революции старичок (тогда юноша) жил возле монастыря Саввы Сторожевского. Уже церкви грабили. И один монах принес ему ковчежец, в котором была мироточивая голова Саввы, попросил спрятать ковчежец до лучших, как сказал, времен. Старик прятал семьдесят лет. Теперь эти мощи в Даниловом. И из Америки передали частицы мощей Даниила Московского, чудотворца. Так много ли у нас таких людей? Таили ковчежец, верили. Где они? В телевизоре? В писательском Союзе? В деревне? У нас на пароходе? Какая это Россия?»

* * *

Какой будет Россия, уже зависит от нас. Точнее, от того, как мы сумеем принять уроки истории и русской литературы, продолжить дело подвижника русского слова В. Лихоносова. И ещё от того, окажемся ли мы способны на любовь как постоянный, непрерывный, одухотворённый труд. Для этого важно сохранить чистоту. Чистоту помыслов, чистоту действий, чистоту телесную. Ради Родины. Ради дорогих сердцу людей. Ради своего будущего, которого без России не наступит.

В укрепление нашему труду и дана Русская любовь, явленная нам в милости Божией, в том числе через подвижников русского слова — классиков русской литературы, в ряду которых своё особое место занимает наш современник, последний из старой школы русских писателей великий Виктор Иванович Лихоносов. ■



НИКОЛАЙ КРИЖАНОВСКИЙ

Родился в 1974 году в Армавире. После окончания филологического факультета Армавирского пединститута работал учителем русского языка и литературы. С 1999 года преподаёт в вузе. Кандидат филологических наук, доцент АГПУ. Печатался в «Вопросах литературы», «Москве», «Нашем современнике», «Родной Кубани», «Литературной газете» и других СМИ. Живёт в станице Прочно-окопской Краснодарского края.

М.О. Меньшиков о Т.Г. Шевченко: ИДЕОЛОГ УКРАИНСКОГО СЕПАРАТИЗМА

Сегодня, когда о творчестве и жизни Т.Г. Шевченко опубликовано много советских и украинских славословий, когда вышла книга О. Бузины «Вурдалак Тарас Шевченко», вспоминая кобзаря, стоит пристально рассмотреть в работы талантливого публициста смутного революционного времени начала XX века Михаила Осиповича Меньшикова.

В декабре 1911 года в работе «Национальная трещина» публицист, осмысляя остро стоявший в то время украинский вопрос, отмечал: «Мы, теперешние потомки великороссов, должны отчетливо уяснить себе характер заговора, составленного против всероссийского государства. Идет очень сильная предательская работа по обширному фронту. Духовные потомки анафемствованного Мазепы привлекли к разрушению русского единства литературу, историю и, что позорнее всего, общих врагов — поляков и австрийцев. В изменническом этом подкопе принимают участие многие профессора, дворяне, чиновники, получающие питание от казны». Меньшиков имел право так говорить, поскольку зарождающийся украинский сепаратизм поддерживался многими политиками, чиновниками, печатью — большей частью российской интеллигенции, утратившей русское национальное мирозерцание и желавшей скорейшего разрушения русского мира.

В 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1911 года исполнилось 50 лет со времени смерти поэта. К этой дате в российской столичной и провинциальной печати вышло множество публикаций, восхвалявших кобзаря. Противостоять лавине славословий в адрес Т.Г. Шевченко осмеливались немногие. Среди них был и М.О. Меньшиков, работавший в газете «Новое время».

К памяtnому юбилею Меньшиков опубликовал

статью «Быть ли России великой?» В ней он утверждал, что 50-летие со дня смерти Шевченко стало для некоторых малороссов поводом к возбуждению русско-украинского раздора, а имя опального кобзаря «служит знаменем для южнорусских сепаратистов».

Восстанавливая истинный духовный и психологический портрет кобзаря, публицист не без основания называет Шевченко человеком, «ослепленным ненавистью к нашей государственности и народности». Мысль Меньшикова легко проверяется при помощи дневника Шевченко, написанного в период ожидания освобождения и первых месяцев свободы от солдатской службы (1857 — 1858). Среди окружающих его русских солдат и офицеров (а последние в продолжение всего срока службы чрезвычайно благосклонно относились к поэту и даже покровительствовали ему) автор дневника видит лишь нравственное убожество и пьянство. Русские, по его мнению, патологически не любят буйной зелени и нарочно окружают свою жизнь серостью бревенчатых изб и грязью. Государь император для него — «Неудобозабываемый (Неудобоваримый) Тормоз», то есть палач, душитель свободы. Неприятие у Шевченко вызывает даже Православие, поскольку оно связано с монархией.

Неужели это служба в солдатах так озлобила кобзаря? Нет. Подобные настроения у Шевченко существовали давно. Одно из самых первых произведений Шевченко — поэма «Катерина» (1842), написанная задолго до ссылки, посвящена трагической судьбе малороссийской девушки, которую совращает и бросает с ребенком жестокий солдат-москаль. И на этом основании кобзарь прорекает: «Чернобровые, любитесь, / да не с москалями, / москаль — чужие люди, / глумятся над вами». Конечно, такое узколобое и злобное вы-

ражение национального чувства, такое примитивное стремление покрасить многообразный человеческий мир только двумя красками не может быть свойственно высокому и подлинному таланту.

Последующие произведения, написанные и до, и во время, и после солдатской службы Шевченко и затрагивающие тему русского государя, его супруги, взаимоотношений украинцев с соседними и родным народом — образчик необъяснимой ничем человеческим русофобии (для примера можно вспомнить стихотворения «Разрытая могила» (1843), «Сон» (1844), «Опять настало время злое» (1853 — 1859), «Хотя лежачего не бьют...» (1860) и др.)

Нам думается, что именно эти факты толкают публициста к мысли: вся политическая поэзия Шевченко есть «возбуждение к мятежу и разрушению государства». А отправка поэта в киргизские степи для солдатской службы является проявлением милосердия императора Николая I к озлобленному и дерзкому бунтарю-украинцу, не помнившему добра от царственных особ. Именно об этом, по мнению Меньшикова, забывают украинофилы.

Для более точной характеристики творчества «опального Тараса» публицист «Нового времени» обращается к словам Белинского, отмечавшего в 1842 году, что произведения кобзаря несут в себе «простоватость крестьянского ума и дубоватость крестьянского языка». Меньшиков не приводит другой характеристики Шевченко Белинским, прозвучавшей незадолго до смерти «неистового Виссариона» в одном из писем. Великий критик возмущается подлостью и неблагодарностью украинского виршеплёта, оскорбившего в своих «поганных» стихах императрицу (имеется в виду стихотворение «Сон»), которая лично участвовала в выкупе Тараса — одаренного крепостного крестьянина помещика Энгельгардта. Поток оскорблений, даже матерной брани в адрес милосердной избавительницы-императрицы извергался из уст Шевченко и после ее смерти. Свидетельство этому — стихотворение 1860 года «Хотя лежачего не бьют...» Черная душа малороссийского подонка-витии не могла успокоиться и отказать от злоречия даже тогда, когда завершала свое земное существование. До пушкинского понимания, выразившегося в стихотворении «19 октября» (1825),

до его «простим... неправо гоненье» Тарасу Шевченко никогда не суждено подняться.

Меньшиков затрагивает вопрос отношения к «бацьке Тарасу» и его творчеству в «ридной Україні» и в «Московии». По мнению публициста, биография Шевченко должна действовать охлаждающе на украинских сепаратистов, поскольку именно от земляков (прежде всего от учителей и от родного дяди) юный Тарас терпел частую порку и битье чем попало, именно в родной земле он не мог стать никем выше маляра и пастуха. Отношение к Шевченко со стороны земляков, по сути, не поменялось, когда в начале 1840-х годов Шевченко приехал из Петербурга к родным пенатам уже достаточно известным поэтом и художником. М.О. Меньшиков констатирует: по возвращении талантливый малоросс нашел на родине лишь карты и пьянство. У публициста возникает недоуменный вопрос: «...разве вместо безобразного пьянства... разве вместо дебошей то же общество (имеется ввиду украинское окружение Шевченко. — Н.К.) не свободно было погружаться в науки, в искусства, в земледелие, в культурный труд?».

С другой стороны, большинство великороссов, с которыми поэта сводила судьба, всегда проявляло к нему заботу и симпатию. Среди них художники Брюллов, Григорович, Венецианов, поэт Жуковский, а также графиня Баранова, княжна Раstopчина, графиня Толстая с супругом, супруга Николая I и многие другие. Одарённого крепостного парня заметили и послали учиться в Варшаву, а затем в Петербург. В Санкт-Петербурге способный юноша из Малороссии был постоянно окружён великосветским вниманием вплоть до императорской четы. Все стремятся облегчить ему жизненный путь, помогают избавиться от крепостной зависимости. Даже во время ссылки, будучи государственным преступником, Шевченко встречал «самое сердечное и самое уважительное отношение от большинства окружающих его офицеров». Они как равного принимали его, разрешали рисовать и писать, ухаживали за ним, а некоторые даже старались выхлопотать прощение. Таким образом, солдатчина поэта, несомненно заслуженная, сделалась совершенно призрачной и позволила кобзарю хвастаться в дневнике (написанном, кстати, на русском языке), что он

за годы службы в солдатах не выучился даже правильно держать винтовку.

В других статьях («Могильщикам России» (1914); «Сеятели ветра» (1914)) Меньшиков называет Шевченко «политическим агитатором», возбуждающим ненависть южнорусского народа к северорусскому. И не просто ненависть, а разделение. Именно эти идеи подхватили «мазепинцы» — так публицист называл украинских сепаратистов, то есть тех, кто хотел разделения России.

В статье «Сеятели ветра» Меньшиков обращается к анализу самого распространённого стихотворения Т.Г. Шевченко «Заповіт» («Завещание»). Трогательные строки вызывают у публициста резонный вопрос: кто же враги, чьей кровью Тарас Шевченко хочет наполнить Днепр и окропить волю? Меньшиков отвечает так: «...ясно, что единственными врагами, которые стояли тогда в воображении, были «москальи», которые будто бы держат Украину в плену, а украинцев — в кайданах, то есть в кандалах». Меньшиков называет такое понимание малороссийской жизни ложным и стремится определить истоки антирусских настроений.

Идея кровавого мятежа появилась, с точки зрения публициста, от тяжких страданий малороссийского народа за века его подневольного существования. Особенно тяжкими были «воспоминания о литовско-польском и жидовском засилье». В народе закрепилось предание о гайдамаках и отчаянных запорожских казаках, дававших яростный отпор врагам. Сюжеты эти жили в народном сознании. Но именно степень соотносённости в творчестве двух малороссийских авторов личного и народного проявила таланты. У Гоголя родилась незабвенная повесть «Тарас Бульба» (1835, переработана в 1842) с воспеванием чести и братства казаков, защищавших русскую землю и русскую веру. А у Шевченко вышли поэмы «Кобзарь» (1840) и «Гайдамаки» (1841). Эти поэмы появились как выражение пафоса ненависти к врагу, почерпнутого из песен кобзарей и запавшего в душу юного Тараса Шевченко. Но, как считал Меньшиков, при отсутствии реальных врагов эпическая ненависть кобзаря была перенесена на москалей, чему способствовали «личные обстоятельства жизни Шевченко: и крепостная зависимость, и сиротское одиночество, и ссылка, и солдатчина, а главное — не-

нави́стнические внушения того польского кружка, в котором Шевченко вращался в Варшаве». Таким образом, публицист вскрывает основную причину ненависти — внушения польского окружения поэта.

Меньшиков в статье «Сеятели ветра» проводит интересное сравнение творчества Т. Шевченко с творчеством Н. Гоголя и Л. Толстого. Малоросс Гоголь, приняв в своё сердце русскую культуру, смог выразить неимоверно больше, чем украинофил и русофоб Шевченко, оставшийся на уровне доморощенной музыки. Гоголь стал вровень с Пушкиным, а Шевченко проявил себя как талантливый поэт второго ряда.

В эпоху Николая I и Александра II Шевченко стал сеятелем ненависти к России и русским. Стал проповедником разделения русского государства и междоусобной вражды. Стал одним из идеологов идущего уже более полутора сотен лет культурного и физического уничтожения русского мира на русской земле — в Киеве, Новороссии, на Донбассе... И сегодня Шевченко можно назвать «злым гением» украинства.

Но мы помним известные строки А.С. Пушкина: «...гений и злодейство — / Две вещи несовместные».

Помним и то, как на вопрос украинофила О.М. Бодянского об отношении к Шевченко ответил Николай Васильевич Гоголь: «Дегтю много, ... и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии <...> Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, ... надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святость — язык Пушкина, какую является евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом! <...> Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, ... нетленная поэзия правды, добра и красоты. <...> Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицом Того, Кто дал нам вечное человеческое слово...» (Данилевский Г.П. «Знакомство с Гоголем»). ■



ПЛАТОН БЕСЕДИН

Родился в 1985 году в Севастополе. Прозаик, критик, публицист, автор романов, повестей, рассказов. Публиковался в «Нашем современнике», «Дружбе народов», «Новой юности», «Литературной газете» и других СМИ. Живёт в Севастополе.

ТЕРРОРИЗМ НОВОГО ОБРАЗЦА: ШКОЛЫ КАК ПОЛИГОН

Резня и стрельба в школах становятся для России делом почти привычным. Но это только начало, потому что, похоже, нет глобального понимания того, как противостоять подобному злу. Более того, стрельба в учебных заведениях становится частью молодёжной культуры, как ранее ими стали «вписки», трэш-стримы и прочая дрянь, построенная в первую очередь на унижении другого и самовозвышении за его счёт. Казань, Керчь, Благовещенск, Пермь и десятки других городов. Однако то, что звучит после трагедий — лишь неуклюжие попытки скрыть правду, даже не попытавшись разобраться в причинах кошмара. Потому и внятных выводов нет.

Ханна Арендт использовала такой термин — «банальность зла». Действительно, самое чудовищное зло — обыденное, нормальное. Именно оно и творится в российских школах. И при этом данное зло системно.

Убийцы от и до планируют свои преступления. Они соответствующе одеваются, намекают окружению на «нечто, что скоро произойдёт» (или говорят прямо) и тренируются в стрельбе. При этом они выбирают тех, кого убивать легче — детей, не способных оказать сопротивление. Последнее, к слову, — черта характерная. Группы подростков, больше похожие на кровожадные стаи, так же толпой набрасываются прежде всего на слабых и беззащитных — на инвалидов, к примеру. В случае школ мы наблюдаем выверенное преступление, подпитываемое садистическим наслаждением от собственного доминирования и беззащитности жертвы. Больше напоминает теракт.

В своём эссе «Нечаев, Верховенский и дру-

гие» Юрий Трифонов писал, что террористы прошлого отличались от нынешних тем, что не убивали невинных людей, а теперь — наоборот. Там же звучит мысль, что современных террористов в первую очередь надо лишить паблсити. Да, но как сделать это в XXI веке? Ведь создана такая матрица, когда почти любое зло будет озвучено. Массовая культура замешана на сексе и насилии. Это давно уже стало общим местом, но от того не перестало быть злом. У него — разные лики: от грязи очередного токшоу до компьютерной игры с кровью и кишками. И всё должно продаваться.

Матрица, как мозаика, состоит из ярких картинок зла. Любой мерзкий поступок снимается на видео и тут же выкладывается в интернет. Далее его смотрят и — привыкают. Нил Сорский представлял этот механизм так: сперва возникает представление помысла — прилог; потом принятие его — сочетание; далее согласие с ним — сложение; за ним порабощение от него — пленение; и, наконец, — страсть.

Однако визуализация зла — лишь составляющая глобальной проблемы и вместе с тем её следствие. Прежде, чем записать видео с тем, как ты насилуешь или избиваешь, ты должен захотеть это сделать. У Хьюберта Селби есть роман «Бес», где он детально исследует, как, в общем-то, нормальный человек погружается во зло — начиная с совращения чужих жён и приходя к убийству священника и осквернению распятия. Это долгая, трудная дорога из ада — поступательное движение ко злу. Однако зачастую её путают с шоссе к успеху.

Да, казанский монстр, да, керченский не-людь. Но их породило это общество. То самое

общество, которое привечает маньяков и убийц, то самое общество, которое использует, согласно Камю, страх как метод управления. Но! Бояться всё время невозможно. Необходимо адаптироваться; человек есть существо ко всему привыкающее, и это есть его лучшее определение (Достоевский). А потому нас учат мириться со злом, или ещё лучше — использовать его для своего успеха.

Школьные убийцы — дети нулевых. И там нет первооснов, свойственных русскому (или российскому, как угодно) обществу. Они уничтожены или вытеснены новыми ценностями. Коллективизм, совесть, справедливость — всё это оставлено в прошлом и заклеено неэффективными архаизмами. Идеологии нет. Важно лишь одно — добиться успеха любой ценой. «Падающего толкни» (Ницше), а после — добей (современный человек).

Новое общество выстроено по деформированным лекалам, в основе которых — рыночная протестантско-либеральная мораль, дарвинистский отбор и кальвинистское одиночество. При этом отброшен тот факт, что принятие западных атрибутов не делает страну, их принявших, Западом. Оно лишь создаёт симулякры западных основ, но к этим симулякрам прилагаются и беды. Это наша черта: взять худшее и довести до патологического абсурда.

Западная система, утверждающая, что человек кровожаден, рождает чувство страха и одиночества как доминирующее. Первым об этом написал Кьеркегор. На этот страх накладывается безответственность, отчуждённость, которую позднее так точно сформулировали Камю (в «Постороннем») и Сартр (в «Тошноте»). В этой системе человек изначально отвержен и кровожаден; чтобы преодолеть себя — он должен убить человека в себе (часто это происходит через убийство, необязательно физическое, другого). Сказанное нельзя интерпретировать глупо: мол, зло пришло с Запада, все эти кровавые фильмы, гнусные игры, бла-бла-бла. Вопрос в другом — каждая система должна быть уравновешена.

Сейчас же мы видим нарушение баланса. Зло сохраняется, личный подвиг и ценности устраняются — воцаряется тотальное равнодушие, кровожадная мораль, где доминантой становится фактор успеха, которого необходимо достичь любой ценой. Растолкать, уничтожить окружающих. Изменено само отношение к другому человеку, понимание себя в обществе, ответственности за происходящее.

Отсюда — принятие новыми поколениями симулякров грядущего рая. Достаточно пообещать им нечто материальное — и они поверят. Для этого необязательно приводить реальные аргументы. Главное — сиюминутность достижения результата. Это желание навязано настолько же, насколько навязано и покаяние за прошлое. То прошлое, что было кроваво и неправильно. Покайтесь за это. Вина и гордыня идут рядом — они вводят человека в когнитивный диссонанс, создавая и в нём самом, и в обществе разрывы: между мыслями, людьми, поколениями.

И вместе с тем рядом — странная реальность, скопированная и изуродованная. Одна из её основ — идея о равноправии, вписанная в общие либеральные ценности. Идея, безусловно, правильная, но не реализованная на практике. Реального равноправия нет, но из-за его декларации есть утрата авторитетов. Человек попадает сначала в детский сад, после в школу, где ему вдалбливается мысль, что он свободен и ничем не ограничен. Вместе с тем матрица, наоборот, создаёт запреты, хотя морали нет, нет авторитетов — и всё дозволено. Вместо Бога — нечто среднее между «кума с мигалкой» и Санта-Клаусом.

При этом люди, которые должны быть авторитетами, сами загоняются в тотальное расчеловечивание. Мы говорим о том, что смотрят подростки, но мы реже говорим о том, что смотрят взрослые, в какой информационной среде они пребывают. Меж тем, родителей накачивают войной и развратом: после «желтухи» и «чернухи» идёт «краснуха», где всё залито кро-

вью во имя величия.

Это не только рождает внутреннюю агрессию, но и лишает человека возможности самостоятельного мышления. Матрица форматирует его так, что он вынужден покоряться. И при этом покорение усиливается постоянной заботой о выживании.

То, что происходит сегодня в детских садах и школах, — это чёрная дыра, которая всасывает в себя остатки и ценностей, и внутреннего достоинства. Воспитатели, учителя работают за копейки: у них нет средств не то что на саморазвитие — на одежду, а подчас и на еду. При этом педагог не авторитет для своих учеников. Родители всегда могут сказать своим деткам: «Да не слушай ты эту дуру». И при этом учителя, воспитатели завалены тонной бюрократической работы — у них банально нет времени на детей. Но нет времени на детей и у самих родителей, потому что они заняты погоней за успехом, а помогать никто не должен — ведь мораль такова, что каждый сам за себя.

В результате дети остаются один на один с матрицей, прививающей им кровожадность, безответственность и неуважение ко всему существующему, а ещё — странную смесь отверженности и избранности. Внутреннее одиночество рождает желание сбиваться в стаи, выстроенные по принципу соединения тюрьмы и борделя. Внутренний диссонанс раскалывает целостность мира.

Кто-то устоять способен, но делает он это не за счёт системы, а наоборот — за счёт внутренних ресурсов, вопреки системе. Но многие ломаются. И вот таких сломанных находят те, кому они будут выгодны для решения собственных задач.

В случае школьных убийств мы, безусловно, имеем дело с организацией, сколоченной по принципам, описанным Достоевским в «Бесах». Это — общая связанностью кровью, тотальная обречённость, отрицание всего и образ действия, сформулированный бесёнком Лямшиным: «Всех обескуражить и изо всего

сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циничское и неверующее, — вдруг взять в свои руки».

Резня, стрельба, убийства, насилие в школах — логичный этап утраты нацией смыслового кода, но это и начало нового этапа — утраты человечности и целостности страны. Решить данную проблему невозможно на одном уровне — здесь, повторяю, необходимо массовое вовлечение. Против системы зла важно выстроить систему созидания. Иного выхода у России нет. И, возможно, этот вызов — сильнейший и страшнейший за всю нашу историю.

И вот мои предложения. Часть предложений. Необходимо ужесточать нормы разрешения на оружие. Тот, кто ссылается тут на американский опыт, не совсем прав. Статистика преступлений в США выше. И оружие вряд ли поможет, если ты не Клинт Иствуд, конечно. Безопасность в школах усиливать надо, но это не решит суть проблемы. Ведь главный урон наносит сам человек. И от него заборами не оградишься. То, что случилось — это следствие общества нелюбви, в котором никому ни до кого нет никакого дела.

Вспомните «Уроки французского» — какой заботой педагог окружил своего непростого ученика. А вот у нас, наоборот, решили, будто школа предоставляет исключительно услуги. И пока будет так — хорошего не жди. Потому что в более щедрые времена школа воспитывала — и как раз-таки о воспитании человека забывать не стоит. Хотим спасти наших детей? Воспитываем на всех уровнях.

Необходимо, в принципе, пересмотреть государственный подход к педагогике. Учитель, который занят выживанием, априори не может в полной мере уделять максимум внимания ученикам. Педагог обязан получать достойные деньги. Хотя речь не только о зарплатах, но и о том, чтобы у него был авторитет, а для этого надо создавать культ педагога. У нас же наоборот: в медиа только странные или совсем неадекватные учителя.

Медицинское освидетельствование — не менее важно. Что у нас происходит с психиатрией в стране? Почему она выведена из ОМС? Сколько психиатрических клиник закрыты? Давайте говорить открыто: мы регулярно встречаем откровенных психов, свободно шагающих по улицам. И как с ними быть?

Гражданское общество — не забудем — это ведь не просто словосочетание, а реальный сдерживающий и модулирующий фактор. К сожалению, у многих в России «гражданское общество» ассоциируется с рекламными брошюрами, но не с эффективными механизмами. Много ли у нас людей обращаются в правоохранительные органы, когда сталкиваются с угрозой другому, но не себе?

Также необходимы: деанонимизация Интернета (насколько возможно), и чистка социальных сетей от неадекватного контента (опять же насколько возможно), и возобновление

дискуссии о смертной казни (как минимум).

Но повторяю: вряд ли всё это будет иметь смысл, если всерьёз и по-настоящему не заняться воспитанием человека на основе традиционных идеалов. Как бы общо это ни прозвучало. Помните, в своё время была такая реклама: «Простые вещи спасают»? Да, спасают. Такие вещи, как сострадание, милосердие, внимание к ближнему и т. д. Прав был Чехов: «Беда не в том, что мы пьём, а в том, что мы не поднимаем пьяных». Полагаю, вам ясно, о чём говорил классик.

Так что начать с душевного разговора со своими детьми. Путь в тысячу шагов — ну дальше вы знаете... А государство, возможно, наконец-то поймёт, что есть вещи не менее, а, возможно, и более важные, чем реализация глобальных проектов. Без Человека — без его воспитания — всё остальное абсолютно бессмысленно. ■